**С папой в деревне**

Хорошо в деревне летом. Хорошо в деревне с папой. С папой вообще хорошо, но в деревне, летом просто замечательно. А начиналось все, как водится, с дороги. Дорога… Поезд, вагон, сидячие места — самолетные кресла. Мне это не нравится. Разве можно спать в сидячем положении? И вот уже вместе с папой мы спим в купе проводника каким-то «валетом». Ночью я прошусь в туалет. Папа возится с дверью и прищемляет палец. Утром на речном вокзале, когда поезд остается в памяти, я обнаруживаю, что палец, вернее ноготь папиного пальца, почти черный. «Почему он черный?» — спрашиваю я папу. «Потому, что я прищемил его, когда открывал дверь купе», — отвечает папа. «Это понятно, но откуда же под ногтем взялась черная краска?» — не унимаюсь я. «Это не краска, а засохшая и оттого почерневшая кровь», — объясняет папа. «Кровь?!» — удивляюсь и одновременно пугаюсь я… Что было вокруг? Что еще запомнилось в начале пути кроме удивительного папиного ногтя? Озеро? Берега? Может время? Время — да. Плыть ведь на пароходе приходилось довольно долго. Долго — и есть время. Наверное поэтому почти весь путь я проводил с отцом на верхней палубе. На верхней палубе был буфет? Что в буфете продавалось? Кексы, неравномерно обсыпанные сахарной пудрой, песочные кольца, морс, кефир… Забыл еще об одном происшествии. Вроде ни к кексу, но был… труп. Когда мы садились на пароход, мужики выловили из озера труп мужчины. Странно, но зрелище не взволновало. Папин почерневший ноготь заинтересовал меня больше… На поселковой пристани нас встретила тетя Лиза с настоящей конной повозкой. До деревни, места нашего отдыха, нас везла лошадь. Лошадь бежала в самый раз — не быстро то есть и не медленно. Вот лисица перебегала дорогу быстро. Я хотел выстрелить в нее из игрушечного лука, но пока вытаскивал его из рюкзака, животного и след простыл. Да, лисица бежала быстро. Или я медленно вытаскивал из рюкзака лук? Этот путь был несравнимо интереснее водного и длился совсем недолго. Через час вместе с папой мы пили чай в доме тети Лизы.

Дом тети Лизы казался мне тогда очень большим. Удивительно было попадать из него в сарай, спустившись по узенькой лесенке на земляной уже пол. Тотчас начинали квохтать курицы, петь петухи. Кто сказал, что они поют в определенные часы? Они кричат, когда им захочется. Петухи, например, всегда кричали, когда я открывал дверь на сеновал, когда барахтался в душистом сене, когда… Нет — я не спал на сеновале. Может днем отдыхал как-то, но ночью — нет, никогда. А кажется, хотел и говорил отцу: «Ну что, сегодня переночуем на сеновале?». Отец пугал тогда мышами, холодом, и я отступал. Или я — как обычно говорила в городе мама — «плохо хотел». Но на утреннюю рыбалку я хотел точно. Сколько раз папа будил меня спозаранку, а я, не открывая глаз, что-то бурчал в ответ и… на рыбалку не шел. С рыбалкой вообще было связано много таинственного. Взять хотя бы этих самых «шитков». Я ведь так и не узнал, что это на самом деле такое. А сколько разговоров велось… «Шитики, шитики». Шитки — это ладно, это тайна. А мотыль, а выползок? Выползок, как говорил папа, всех остальных поклевок лучше. Почему? Потому что он большой, а значит маленькая рыба съесть его не может. Еще почему? Потому что он крепкий и с крючка так просто не срывается. Еще? Еще — вкусный, крупная рыба его очень любит…

Отец рыбачил с берега. Он брал с собой белый пятилитровый бидон, длинную-предлинную удочку и банку с червями. Возвращался папа к завтраку и почти всегда кроме мелкой рыбы приносил одну или две больших. Большая рыба — лещ. Леща обычно жарили вместе с луком в подсолнечном масле. Лещ был вкусный потому, что без костей, потому, что все косточки очень старательно и долго выбирал папа. За столом иногда случались неприятности. У Кольцовых (такую фамилию носили сестры) была собака Налет. Налет во время наших трапез частенько прятался под столом и нет-нет хватал меня за тапок или тренировочные штаны в надежде, что я тут же задобрю его куском сахара или конфеты. Налет не был злым, просто он, как все без исключения собаки, всегда хотел есть. Не знаю, любил или нет меня Налет, но баба Наташа — соседка Кольцовых через дом — любила. Я помню, как она приходила утром, ласково меня будила и протягивала кружку парного молока. За молоко, чаще всего это бывало вечером, баба Наташа просила малость — «Димушка, попрыгай». И я прыгал, вернее подпрыгивая, бежал, а баба Наташа сидела на скамеечке рядом со своим домом и хлопала в ладоши. Почему не прыгала внучка бабы Наташи Ленка? Может и прыгала (чего ей стоит, делов-то), но не так. Зато училась хорошо. У Кольцовых, например, хранились ее грамоты и подарочные, подписанные красной, явно учительской ручкой книжки. Кольцовы любили Ленку, к ним она часто заходила. Но я этого не запомнил. Скорее всего, она навещала Кольцовых зимой. Тут, впрочем, следует поправиться, потому что зимой в деревне жила только одна Кольцова — тетя Лиза. Тетя Паня — ее младшая сестра — работала на каком-то витаминном (вот здорово!) заводе, а до завода — еще на каком-то предприятии, которое имело свой пионерский лагерь с удивительным названием «Железо». Вместе: пионерский лагерь «Железо» — чудеса. Тетя Паня тогда еще продолжала трудиться и приезжала к сестре в отпуск…

Мы ходили с папой в лес. Прежде чем отправиться туда, папа сказал, что мы пойдем через лес к Городку, а это «далеко и надо взять с собой поэтому какой-нибудь еды». Какая-нибудь еда — это яйца вкрутую, свежие огурцы и хлеб с маслом. В лесу, на полпути к цели, мы сели на землю и достали из корзины бумажный сверток. Мы съели все, что было в свертке, и пошли к Городку. Впрочем, мы еще не дошли до него, когда отец неожиданно посмотрел на меня и повернул обратно. Зачем же в таком случае мы ели яйца, огурцы и хлеб? Зато до истока Волги мы вместе с Кольцовыми добрались, несмотря на то, что больше половины пути я преодолел сидя на красной папиной шее. Рядом с разрушенной церковью мы решили передохнуть и достали из сумок увесистые свертки. В них снова оказались яйца, хлеб с маслом, свежие огурцы и «завтрак туристический» — так всегда называла эти консервы тетя Паня. Я не думаю, что Кольцовы пошли с нами на исток великой русской реки Волги только за впечатлениями. Было у сестер там, видимо, какое-то дело, следовало, кажется, навестить в деревне рядышком с истоком дальнего родственника или родственницу. В этих местах Кольцовы, они говорили об этом, строили во время войны узкоколейку, идущую как раз от истока в сторону районного центра. Исток Волги мне тогда, к сожалению, не запомнился. Немножко запомнилась церковь. В остатки церкви я даже вошел и увидел на земле овечий помет, сморщенные картофелины и кривые надписи на потрескавшихся стенах…

Вот вспомнил собаку, а котов чего же? Их ведь целых два было. Вернее, был он — кот Михей — глупый и рыжий, и она — кошка Белка. Белка много времени проводила в доме, Михей — нет. Он появлялся у Кольцовых ночью, жутко голодный, и в сенях с жадностью набрасывался на еду, которая находилась в специальном корытце и предназначалась курицам. «Натюкался курячьей еды», — вспоминала за завтраком ночной эпизод тетя Лиза… А как непонятно и многозначительно из ее же уст звучало: «Сегодня вечером нам принесут стчукрят». «Щурят, тетя Лиза», — поправлял ее отец. «Я и говорю, стчукрят», — стояла на своем тетя Лиза. «Ну хорошо. Нам принесут стчукрят», — соглашался в конце концов папа. Стчукрят приносили. Они были узкие и длинные, как змеи. Из голов стчукрят готовили уху, а из всего остального — «жареху». «Жареху» иногда называли «жарежкой», но особый, аппетитный смысл слова от этого не менялся. Кроме щурят были, разумеется, щуки. Их, например, ловила на противоположной стороне озера в деревне с кошачьим названием Белка целая рыболовная бригада. Мы плавали с отцом в Белку не знаю на чьей лодке, так как своей у нас еще не было. Я запомнил хорошо: обрывистый берег, продырявленный многочисленными ласточкиными гнездами, и в некоторых из них — палки. «Варвары», — сказал отец, вытаскивая из гнезда палку, а я поправил: «Это палка». «Палки воткнули в гнезда — варвары», — ответил папа. На берегу еще были моторные лодки. Что касается самих рыбаков, то мы их не увидели, но мне даже понравилось это. Отсутствие рыбаков добавило нашему походу таинственности…

Чем отличался кузнечик от саранчи? Саранча больше и зеленее кузнечика. Саранча — враг полей, ее показывают по телевизору в самой серьезной передаче. А я видел саранчу у себя под ногами, когда мы шли вместе с отцом из соседней деревни — в нашу. Началось все с яблока, которое вместе с молочным бидоном мне протянула баба Груша. Груша протянула яблоко — здорово. Яблоко оказалось кислым, и я бросил его в траву, спугнув саранчу. Саранча высоко взмыла в воздух и, описав ровную дугу, приземлилась мне под ноги. Да, саранча, большая и зеленая, как огурец. О саранче папа знает не меньше телевизора. А как папа ищет грибы — чудо. Однажды в лесу мы встретили грибника. Он выглядел расстроенным — немудрено, ведь его корзина, когда я заглянул в нее украдкой, оказалась почти пустой. Не в пример, кстати сказать, нашей. «Я вижу, вам везет», — кивнув в сторону папиной корзины, сказал грибник. «Все дело во внимании. И попрошу вас, отойдите, пожалуйста в сторону, а то раздавите гриб», — ответил папа. Недоуменный грибник попятился назад, одновременно глядя себе под ноги. И точно, рядом с его сапогом рос наполовину прикрытый листком довольно крупный подберезовик… Грибы грибами, вот шпаги… Разве можно сделать ее из обыкновенного прута и бревнышка? Можно, когда есть папа. Ладно прут, его папа срезал своим знаменитым небесно-голубым ножиком. Срезал и отесал нежную, как картофельная кожура, кожицу. При чем здесь тогда бревно? А при том, что от бревна папа отпилил кружок и, проделав в нем отверстие, насадил с большим — ведь папа так при этом покраснел — усилием на влажный от еще невысохшего сока прут. «Вот тебе шпага», — сказал папа и протянул мне новую игрушку. «А себе? Я что, один буду играть?» «Нет, конечно», — ответил папа и быстро-быстро сделал шпагу для себя…

Еще, оказывается, во время войны папа в деревне хорошо учился, видел живых фашистов и жил несколько месяцев в настоящих землянках. В землянках маленького папу тараканы не беспокоили, а до того, когда он ночевал в бане — беспокоили, и еще как, потому что заползали в уши. «И что, — спрашиваю папу я, — выползали потом?» «Конечно, что им там делать?» «Действительно — что?» — думаю я и успокаиваюсь. У Кольцовых сохранилась фотография маленького папы. Хотя маленьким на ней его не назовешь. Вот я — маленький, а папа — нет. Ему на фотографии лет десять. А мне? Сколько мне лет? Да, мне пять лет, и я отдыхаю с папой в деревне.

**С сестрой в деревне**

Что делала моя сестра Марина в деревне? То же, что и я — отдыхала. Сестра приехала в деревню в пионерском галстуке, в бежевых шортах с барабанами на карманах и темно-голубых теннисках. В отличие от меня-дошкольника, сестра перешла в пятый класс и месяц назад совершила дерзкий побег из настоящего пионерского лагеря. Сестра покинула его с еще одной девчонкой, также чем-то в лагере недовольной. Вместе они сели в поезд на станции Комарово и уже через час встречали военных пап рядом с входом в метро «Финляндский вокзал», потому что папы, по стечению обстоятельств, работали вместе в артиллерийской академии. Вечером папы появились, быстренько узнали подробности происшествия и, несмотря на усталость, отвезли беглянок обратно. Мне тогда очень понравился поступок сестры. Смелый вышел поступок, ничего не скажешь. С такой сестрой можно и в деревню съездить.

Оказавшись в деревне, сестра сразу же запела лирические песни. «Словно лебеди летели — обронили пух», — начиналась одна. «Если в дождь такой ждать ты будешь, значит любишь ты, значит любишь», — заканчивалась другая. Замечательные были песни и совершенно непонятные. Сестра, видимо, это понимала, потому что игра, в которую она вскоре предложила мне играть, песен не содержала. Об игре подробней. Одному из участников, все равно какому, следовало хлопками имитировать ритм той или иной, но всегда популярной песни, а другому по возможности быстрее ее узнавать и сразу же после счастливого мига открытия исполнять нормально, то есть спеть, отчетливо произнося слова. Я не помню, какие мы с сестрой выстукивали, вернее выхлопывали песни, помню, что содержание определить нам обоим было очень сложно, и поэтому после пятой или шестой попытки тот, кто выбивал ладошками ритм, прекращал это делать и громко запевал. Пели по очереди… По очереди вытаскивали из карманов абсолютно одинаковые кошельки. Красивые, помню, были кошелечки и формой напоминали сыр, который на книжных иллюстрациях в клюве держала хитрюга-ворона. И закрывались ведь без усилий, захлопывались просто-напросто. И взрослая к тому же была вещица — денег в нее влезало достаточно.

Однажды в доме тети Лизы появился еще один мужчина. Когда мы с ним познакомились, он попросил называть себя дядей Сашей. Дядя Саша был младше нашего отца, имел привлекательную внешность и не имел семьи. В Ленинграде он работал на заводе то ли токарем, то ли еще кем-то, и кем-то, потому что я до сих пор этого не знаю, приходился сестрам Кольцовым. Скоро дядя Саша (за глаза, естественно) получил от нас кличку Змеиный Супчик. И вот почему. Как-то раз все вместе — я, сестра, папа и дядя Саша — пошли в лес за грибами. Грибы тогда еще толком расти не начали, поэтому мы набрали их совсем немного. Зато в разгар прогулки отец увидел гадюку и обратил на нее наше внимание. Папа, конечно, не позвал нас, не окликнул так, как-нибудь: «Давай ко мне!» или «Давайте на змею полюбуемся». Но каким-то образом о змее стало известно всем, и обескураженный неудачным поиском грибов дядя Саша сказал: «Надо было и змею с собой в лукошке прихватить, раз грибов так мало. Дома сварили бы из нее супчик». «Змеиный супчик?» — откликнулись мы с сестрой хором на предложение дяди Саши. «Точно, змеиный супчик», — подтвердил он и засмеялся. Так за дядей Сашей, за глаза, разумеется, и закрепилась кличка Змеиный Супчик.

Дядя Саша — Змеиный Супчик привез с собой в деревню черный, весь в стальных кольцах спиннинг в надежде поймать на него леща. И вот однажды, когда сестра осталась дома, а мы отправились на рыбалку в особо «клевачее», как выразился папа, место, всем показалось, что факт сей вот-вот подтвердится. Спиннинг дяди Саши на наших глазах изогнулся невообразимой дугой, сам он попятился, поскольку находился в воде почти по колено, а через мгновение на поверхности появилась довольно большая рыбья голова. Дядя Саша действовал тогда согласно инструкции отрывного календаря тети Лизы, то есть сначала рыбину подсек, затем подтянул к поверхности, чтобы та, глотнув кислорода, оставила на время всякое движение, а дальше, не вытаскивая из воды, дотащил до самого берега. Змеиный Супчик мог тогда стать и Рыбьим, потому что повел себя по отношению к добыче ловко чрезвычайно. Мог, да не стал, поскольку рыба оказалась не ожидаемым лещом, а всего лишь подлещиком. Он оказался крупным, сопливым, но это был подлещик. К сожалению, это был он. Дядя Саша тогда здорово расстроился, ведь он, как и мы с отцом, вполне уверовал в то, что тащит настоящего леща… То ли сестра обиделась за то, что мы не взяли ее с собой, то ли ей просто повезло, но вечером, когда мы ловили рыбу с лодки, она поймала почти два десятка плотвиц, несколько подлещиков и щуренка. Представьте только, маленького хищника на обыкновенную бамбуковую удочку и червяка. Я от обиды прямо в лодке разрыдался и, протестуя, с силой опустил свое удилище в воду. А как сестра «отбрила» деревенского Кольку? Очень просто, взяла и сказала ему: «Сопли сначала утри, а потом командуй!». Кольке ничего другого не оставалось, а начал, начал было… Костер наш сначала увидел, подошел и начал: «Ну-ка, быстро потушите костер. Я — охранник леса!». От испуга лично я сложил руки в горстку и бросился к озеру. Сестра же не бросилась. Она даже горсть не сделала, а мне сказала: «Ну-ка, стой!», а Кольке сказала: «Нос сначала утри, а потом и командуй!». Колька на сестру обиделся. Этим же вечером разыскал и, спиннингом изогнув грудь, зловеще произнес: «Что ты мне на берегу сказала? Ну-ка повтори!». Но сестра и тут не растерялась, потому что сказала, как недавно: «Утри нос, а потом командуй!». Колька отстал. Так-то. Поступок сестры, что и говорить, получил, что называется, отклик, особенно в нашем кругу, особенно в кругу сестер Кольцовых. «Ну молодец Маринка. Как отбрила мальца», — молвили за табачком Кольцовы и одобрительно кивали головами. Может быть, как раз в этот вечер одна из Кольцовых обмолвилась: «Вот, тебе, Сашка, и невеста подрастает». Дядя Саша хмыкнул в ответ со своего стула, а сестра покраснела сначала, но потом успокоилась, зашевелила губами, производя в уме расчеты. На сколько лет дядя Саша был старше моей сестры? Лет на пятнадцать, двадцать? Не помню. Помню, как ходили с сестрой в клуб на «Робинзона Крузо» и как папа нас встречал. Когда мы вышли из клуба, полные чудесных впечатлений, на улице стояла кромешная тьма, и папа с большим серебристым фонарем…

Отдыхалось отлично. Мы с сестрой загорели, окрепли и были готовы предстать перед внимательным взором мамы и школьной медкомиссией. Но внезапно погода испортилась. С самого утра пошел противный мелкий дождь, подул холодный ветер, который вспенил и поднял на озере волны. Из-за волн, а по большому счету из-за такой вот резкой смены погоды мы с сестрой и заболели. Впрочем, если быть до конца последовательным, в большей, чем плохая погода, степени повинным в нашей болезни оказался брат соседки Лиды — Костя. Костя возник на пороге дома Кольцовых вместе с противным дождичком и сказал папе, чтобы тот теплее одевался и шел с ним вместе бредить, потому как «самая погода». Бредить — я не ошибаюсь. Бредят бреднем. Бредень — нечто вроде небольшой сети, которую с двух сторон тащат рыбаки, один из которых располагается от другого как можно дальше и поэтому погружен в воду по самую шею. Мы с сестрой очень захотели узнать обо всем этом подробнее и собрались на озеро. Почему мы не оделись тепло? Почему отправились на озеро чуть ли не в одних шортах, рубашках с короткими рукавами и сандалетах вместо резиновых сапог? Убей — не знаю. Я помню хорошо, что мы шли вдоль озера, что моросил дождь, что мы здорово вымокли и не сразу нашли папу с этим самым Костей. Костю мы почему-то увидели прежде отца. Он вообще выглядел колоритно. Костя был бел, худ и ни во что кроме линялых трусов не одет. Еще я запомнил его костлявые коленки и ведро с рыбой…

Заболели мы с сестрой словно по команде. Утром следующего дня у нас была одна и та же высокая температура и разнообразные симптомы острого респираторного заболевания. Им в конце концов мы переболели с той лишь разницей, что после хвори я ничем больше не заболел, а вот сестра заболела осложнением. Осложнение врачи в Ленинграде назвали воспалением среднего уха, и сестру стали готовить к операции. Разговоры, конечно, дома шли в основном об этом странном ухе и о том, как «это все страшно» и «что ты сделал с детьми, Юра?!».

Все переживали за сестру. Я переживал. Папа Юра переживал. А как мама переживала — одному Богу, наверное, известно. Одному Богу, наверное, известно, почему операция сестре не понадобилась. Обошлось все у нее со средним ухом. Через неделю она вернулась из больницы домой и вечером запела в спальне: «Ясные светлые глаза вижу я в сиянии дня». Сомнений не было — сестра вылечилась, сестра была здорова абсолютно.

**С мамой в деревне**

**«**С папой в деревне» — было, с сестрой — тоже, с мамой — не было. Не было — будет. Начнем. Моя мама — человек строгий и вместе с тем импульсивный. В деревне в ее характере, как правило, ничего не менялось, поэтому с папой отдыхать мне нравилось больше. Но о нем, как отмечалось, уже было. Итак, о маме. Начнем сначала.

Мама бывала в деревне не раз. Обычно она наведывалась туда, когда там гостили папа, я, сестра и младший брат Коля. Предваряя мамин визит, я судорожно собирал в охапку краски, кисточки, складной стул, банку и бежал отыскивать подходящий для рисования пейзажик. В результате к приезду мамы на комоде тети Лизы обнаруживалось несколько акварельных видов, среди которых обязательно был стожок соседки через дом Лиды, домик сестер Кольцовых, лесок с отражением в местном озере и церквушка, не поместившаяся в леске. Мама натыкалась на мои опусы сразу же и, скептически осмотрев каждый, произносила значительно: «Неплохо. Но надо нарисовать еще. Художник Пластов, как он сам в дневнике признавался, рисовал везде, всегда, всюду»…

Маму ждали не только акварельные пейзажи. Ее ждала моя сестра, если не была в пионерском лагере, брат-кроха, тетя Лиза и ее младшая сестра тетя Паня — обе в ожидании хлопчатобумажных халатиков или чего-нибудь еще. Наконец, маму ждал папа, которого она в деревне должна была заменить. Сменив папу, мама брала бразды правления в свои худенькие руки и… начинался досуг. К досугу мама всегда относилась очень серьезно. Например, каждое утро сразу после завтрака она говорила: «А сейчас все отправляемся в лес». «Нет», — возражал маме я. «Нет», — пищал брат-кроха. «Нет», — гавкал пес Джек вместо пса Налета, почившего год назад. «Да. Да. Да», — всем и каждому отвечала наша настойчивая мама, и все вместе мы шли в лес. В отличие от нас, Джек, когда гавкал маме «нет», плохо понимал происходящее, потому что на самом деле лес любил всем своим собачьим нутром. Оказавшись в лесу, Джек сразу же куда-то исчезал и появлялся через некоторое время весь в пуху, еловых иглах и грязи. Вообще, Джек рядом с нами находился совсем недолго, а вот мы в лесу торчали до тех пор, пока эмалированный трехлитровый бидон не наполнялся черникой. Трудно собирать чернику в бидон, если учесть, что брат ее вовсе не собирает, а сидит на поваленном елочном стволе и раскачивается. Правда — сидит и раскачивается. Раскачивается и лопочет что-то свое, детское-детское. Разве его осудишь за это? Нет, конечно. А мама что? Мама все внаклонку, внаклонку. Ягоду — в бидон, в бидон. А я что? Я тоже внаклонку, только не с бидоном в руках, а с большой кружкой. Пока наберешь ее — час пройдет, и Джек счастливый из леса вернется. Вернется и исчезнет до следующей кружки. Так, короче говоря, кружками время и течет… Бывало, между прочим, и после обеда мама нас с братом снова в лес тащила. Счастье, что бидон мама тогда брала поменьше, но все равно тяжело. Все внаклонку, внаклонку…

Что еще в досуге, кроме леса и живописи с рисунком, было? Чтение книг? Это да. Это тоже эпопея целая, но тут непогода требовалась, потому как в день ясный — или лес, или под надзором (а как же) купание. Итак: непогода, дождь, порывистый ветер. Гадость, в общем, на дворе, а на пороге — мама. Мама: «Где твои книги?». Я: «Какие?». Мама: «Книги — художественная литература, которую тебе по школьному списку надо за лето прочитать». Я: «А что мне надо прочитать по школьному списку?». Мама: «Точно не знаю, но кое-что запомнилось». Я: «Что запомнилось?». Мама: «Ну, “Сампо-лапаренок”. Ну, “В разведку шел мальчишка”. Ну, и… и больше не помню».

Конечно, у меня нет никаких книжек, в местную библиотеку я не записан. Что делать? Зато мама знает, что, и ведет меня к соседской девочке с книжным именем Алиса. Я с Алисой не знаком и идти к ней с просьбой дать книжек мне неловко. Алиса сидит в палисаднике и читает книгу. Мама сначала любуется идиллией, а потом обращается к девочке ласково: «Здравствуй, Алисочка». Дальше в таком же примерно тоне-духе мама приближается к цели нашего визита и, достигнув ее, берет из маленьких рук сказочной Алисы две книжицы. Не «Сампо-лапаренка», а «Максимку» Станюковича. Не «В разведку шел мальчишка», а что-то про пионера-героя Марата Казея…

Я читаю. Я рисую. Я хожу в лес за черникой. Я правильно провожу время. Но вот заволновалась моя всегда собранная мама — Кольцовы решили навестить родственников в районном Осташкове. Маме за время их суточного отсутствия следовало: самой топить печь, таскать на коромысле воду, варить завтрак, обед, ужин, кормить куриц и много чего еще. Уезжая, Кольцовы беспокоились прежде всего за куриц, ведь их надо было всех до одной отыскать, отрядить в специальный загончик, накормить в загончике кормом, потом выгнать, вечером снова загнать, только не в загончик, а в сарай. Но это, как говорится, в двух словах. Проще простого сказать: «Загони-ка куриц». Как их загонишь? Не скажешь же им: «Ну-ка, курицы. Давайте, курицы живенько в загон». Сказать-то можно, но послушаются ли они тебя? Вряд ли. Вернее — точно не послушаются. Кольцовы это знали прекрасно. Поэтому весь перед отъездом вечер учили маму специальной команде. «Повторяй за нами, Валя», — хором говорили Кольцовы и наперебой кричали: «Пыри-пыри-пыри». Мама повторяла: «Пыри-пыри-пыри»… В общем, команда «пыри-пыри-пыри» самой главной в суточном мамином дежурстве оказалось. Помучилась с курицами мама. Голос сорвала, многократно слово «пыри» повторяя. Однако курей накормила и спать заставила. А печь? А самовар? А завтрак, обед и ужин? С этой ерундой мама справилась легко. После «пыри» любая печка газовой плитой покажется. Это же как дважды два ясно. Это и Кольцовы подметили после возвращения и маму похвалили: «Справилась Валя, молодец». Действительно, за маму было приятно. Приятно, что тотчас же она разучила новую, овечью что ли команду: «Серка-серка-серка», — повторяла мама вслед за Кольцовыми. «Но это так, на всякий случай», — говорили Кольцовы…

И все-таки еще разок поволноваться маме пришлось. Но тут дело, как говорится, было святое, потому как нас — ее детей — касалось. Впрочем, по порядку. Каждый вечер вместе с братом, а иногда вместе с братом и мамой мы ходили в соседнюю деревню за молоком. Случалось, мы приходили туда раньше, чем следовало, и ждали на скамейке с очень симпатичным из-за двух аккуратных верандочек домом. Так уж получалось — мы ожидали молоко не рядом с домом, откуда заветному бидону надлежало появиться, а совсем другим, но, разумеется, рядом с ним расположенным. В красивом этом домике жили в основном дачники, среди которых были и дети. Один из них, возраста моего брата, несмотря на огромный, во всю щеку румянец, почему-то все время кашлял. Но при этом очень симпатичный был карапуз. Так и тянуло к нему подойти и по голове стриженой потрепать. Не ты, так он к тебе пришагает, попросит что-нибудь и покашляет тут же. Мама однажды это заметила и тотчас нас с братом остерегла: «Не смейте с этим мальчиком общаться. Я уверенна — он болен коклюшем», — так прямо резанула и, взяв за руки, отвела в сторону…

Все мама видела и знала. Например, не горит лампочка — мама тут как тут: «В ней что-то не контачит». Ладно лампочка, сфера, как говорится, высокая. Взять арбуз. Мама о нем: «Арбуз мочегонен». А мамина проницательность, как о ней промолчать? Помню, брат Коля вырос, поумнел и зачастил я с ним на разные вылазки. Однажды идем с ним мимо горки, ельником поросшей, дай, думаем, заглянем — вдруг гриб. Заходим, смотрим, и точно — гриб. Рядом смотрим — лось. Мертвый, не пугайтесь. Даже не лось, а то, что от него, горемычного, осталось. Скелет, проще выражаясь. Но красивый. Зачастили мы, в общем, с братом на эту самую горку скелетом лосиным любоваться. Огромный ведь, белый ведь, и весь почти на виду. Вот только рогов ни рядом, ни в стороне мы с братом так и не обнаружили. Зато скелет загляденье, завораживающее, честно признаться, зрелище…

То ли брат проговорился, то ли я, то ли мамина проницательность верх взяла, но однажды мама о скелете узнала и сказала очень строго: «Не сметь падаль нюхать». И с этого злосчастного дня мы с братом «не смели». Не смели созерцать лосиный остов, делать самострелы, купаться без страховочного пояса, плавать в лодке, есть много конфет и фасоль в томате. Фасоль в томате… Как мы ее с братом любили. Да кто ее не любил? Все, по-моему, любили. «Зрелая фасоль в томатном соусе» — вкуснейший болгарский продукт. Но не будем о грустном… Что еще? Ах да — лодку мама вместе с соседкой Лидой, мною (я не в счет) и братом (не в счет тем более) к бане тащила. Лихо тогда мама с Лидой действовали. Ловко, то есть и слаженно. Одна бревнышко подложит, другая подложит, потом лодку вдвоем уже по ним двинут, затем снова бревнышек по очереди набросают и опять — «дружно навались». Часа не прошло, как лодка у баньки стояла. Мама, конечно, Лиду после трудового подвига к столу позвала, и правильно сделала. Нет-нет, портвейн с Лидой мама не пила. Кольцовы — те немного выпили, а вот Лида выпила хорошенько. Но ее за это судить не надо. Выпила — и ладно, и хорошо. Дар речи ведь не потеряла. Дар речи ей спеть помог, а другой какой-то дар — и сплясать. Мама тоже тогда и пела, и плясала. Нормально, в общем, мероприятие прошло… А на следующий день в деревню приехал папа и забрал нас вместе с мамой в город. Все. Пока о маме — все.

**Тося Капитонова**

Тосю Капитонову не поймешь. Беспокойный она человек. Узнает, что мы на днях в Ленинград возвращаемся, забежит в дом и с порога: «Я с вами». «То есть», — спросишь Тосю и услышишь в ответ: «К дочкам поеду»…

Дочерей у Тоси три. Все три замужем и живут в одном приграничном с Финляндией городке. Ездить к ним Тосе не привыкать. Она даже жила у одной них как-то всю зиму, но по весне снова вернулась в деревню и с тех пор больше двух-трех недель обычно зимнего месяца не задерживалась. Зимой, как правило, Тося и вела себя странно. Сегодня, скажем, собирается к дочерям, а завтра уже нет. Вот именно так прямо и заявляет на следующий день: «Куда ж я поеду, если горю вся. На дровах с Толей, наверное, застыла». Причина, нет слов, уважительная, однако есть в этих метаморфозах один существенный момент — собирается к дочерям Тося всегда «по пьяни». Махнет водочки Тося, слезу горючую, дочерей вспомнив, прольет, и готово решение — «завтра еду»… Впрочем, не так гладко, не в такой последовательности зреет Тосино решение. Хотя начинается все именно так — выпьет Тоня водки, водку Тоня не закусит, и начинается парад воспоминаний. Первым, обычно, она вспоминает сына-первенца, погибшего здесь от молнии. Вспомнив, Тося тут же начинает плакать. Но вдруг — лицо Тоси моментально высыхает, озаряется характерной хмельной улыбочкой, и я слышу совсем другое: «Муж покойный у меня хороший был. Жили мы с ним душа в душу. Все ведь умел. Он и дом сам построил, и баню, и дочерей воспитал…». Тут я прерываю молчание, сбрасываю с лица уже никак не соответствующий моменту траур и задаю вопрос: «Скажи, Тося, как ты с мужем познакомилась?». Тося отвечает с удовольствием: «В Ленинграде, вместе на заводе трудились. Поженившись, в комнате на Васильевском острове жили». «А в деревне как потом оказались?» — снова спрашиваю я. «А так и оказались. Потянуло в конце концов. Здесь ведь у матери дом был с огородом, и работа в колхозе скоро для нас нашлась». «Вот как», — уже не так заинтересованно откликаюсь я и вдруг слышу от Тоси: «Бороду-то, бороду-то зачем растишь?». Странным образом, я это не раз замечал, действует на местных бабок мужская щетина. Промежуточную стадию роста бороды они просто-напросто не признают. Да и состоявшуюся бороду принимают с большим сомнением. Вот и сейчас Тося щиплет меня за щеку и матерится. «Хватит, Тося», — раздраженно говорю я и оттаскиваю в сторону ее руку. «Выпить есть?» — неожиданно спрашивает меня Тося. «Это у отца надо спрашивать», — отвечаю я. «А где он?» «Рыбу ловит». «А-а-а», — тянет Тося и спрашивает меня снова: «Так чего, нальешь?». «Да куда тебе еще?» — отвечаю я строго и, словно послушавшись, Тося перестает вспоминать о выпивке и начинает с мгновенной слезой на щеке: «Убило сынка-первенца. Молния окаянная — пропади она». И снова физиономия Тоси как по волшебству высыхает, меняется ее настроение и: «Младшая дочь у меня красавица, и средняя, и старшая тоже. У старшей — дочь, и у средней, а вот у младшей — пока никого». Вдруг снова, я со счета сбиться успеваю, новая мысль поселяется в Тосиной голове, и я узнаю… о содержимом ее погреба. «Мне что надо, — начинает Тося новый запев, — мне ничего не надо — все у меня есть. Мясо осенью двадцать банок насолила. Огурцов, свеклы, картошки заготовила — на всех хватит. Сгущенкой сосед-атомшык угостил. Пенсию без задержек получаю. Так что живу и радуюсь. Сейчас вот к дочкам собираюсь». «Ну вот, — думаю я, — сейчас уж точно Тося к дочкам перейдет». Однако мысли ее снова приобретают новый оборот, потому что говорит Тося следующее: «Я тебе носки свяжу, хочешь?». «Хочу», — отвечаю я. «Ладно. Приеду от дочек и к весне свяжу. Весной-то приедешь?» «Вряд ли. Летом скорее», — отвечаю я. Тося не унимается: «Я тебе шарф свяжу. Хочешь?». «Ты сначала носки свяжи», — с улыбкой отвечал я. «А-а-а», — тянет Тося и начинает смеяться. Вволю насмеявшись, Тося собирается домой. «Ну ладно, я пошла». «Давай, с богом». «Да, пошла». «Пора-пора, Тося. Поросенок, поди, голодный, да и курочки. Ты, кстати, кому их оставишь, когда к дочкам поедешь?» «Толе — ему все оставлю. Ему не впервой». «Да, Толя, справится. Что, пошла?» «Да, пошла. Или…» «Что?» «Может, нальешь?» «К отцу». «Где он?» «Я же тебе говорил, рыбачит». «Ну-да, правильно, рыбачит. Ну, пошла я». «Ну пока».

Тося уходит. Из сеней доносится звук упавшего ведра и громкая ругань. Спустя мгновение открывается дверь, и на пороге комнаты я лицезрею Тосю. Последующие полчаса она проводит в моем обществе. Разговор, который мы ведем, ничем, кроме разве что череды тем, от предыдущего не отличается. Тося плачет, собирается к дочкам, описывает закрома и обещает мне теплые вещи. И все-таки Тося уходит. А утром появляется в нашем доме новым, незнакомым человеком. Начинается с того, что она официально здоровается и садится на табурет со словами: «Это ж надо, так застыла. Горю вся». Мы с отцом засыпаем Тосю участливыми вопросами, на которые она отвечает тем же, только что использованным для приветствия тоном: «Не поеду я никуда. В другой раз как-нибудь». Несмотря на перемену настроения, я спрашиваю Тосю: «Так может, ты прямо сейчас за носки мои возьмешься, раз никуда не едешь?». «Какие еще носки?» — картинно удивляется Тося. «Как, какие? Ты же сама вчера обещала — шерстяные носки и шарф». «Не припомню чего-то… Да у тебя, я смотрю, есть вон носки какие-то на ногах, а шарф — на вешалке при входе висит» — без тени смущения отвечает мне Тося. «Да я шучу. Не надо мне ничего», — заканчиваю разговор я, и вскоре Тося уходит…

Не сейчас — так летом, не летом — так осенью или зимой, словом, когда в деревню я ни приеду — нетрезвый разговор Тоси Капитоновой в первозданной красе услышу. Снова все узнаю про дочек, прокляну убийцу-молнию, воображу на ногах теплые шерстяные носки и, глядишь, ослушаюсь родительского наказа, налью Тосе стопочку. Стопку Тося выпьет и опять затянет свой нелепый, но почему-то никогда всерьез мне не надоедающий разговор.

**Сашка**

Повеситься Сашке не удалось. Вовремя вошла в избу жена и с гиком дернула его за сапог, мгновение назад толкнувший в сторону табуретку. Странно, но обувка осталась на Сашкиной ноге, а сам он сорвался с крюка подобно зрелому плоду. Ни Сашка, ни его жена Любка, ни сельчане не знали мотивов дикого поступка. Накатило на Сашку вдруг, и смотришь — петелька, крюк, табурет с овальным отверстием.

Сашка жил плохо. Он работал, пил и помогал жене рожать большеголовых, умственно отсталых дитять. Было еще в Сашке нечто особенное, неясное, что в определенный день и час толкало на жуткий безрассудный шаг и — петелька, крюк, табуретка с отверстием… На широкой сверкающей металлом кровати Сашка очухался и спросил Любку: «Чего это я?». Любка без подготовки, почти мгновенно разрыдалась.

Утром и днем Сашка работал на скотном дворе, пил в обед приобретенное спиртное, ночью спал на большой кровати с Любкой, а утром снова работал на скотном дворе. Когда отыскать деньги на бутылку Сашке не удавалось, он кричал и дрался. Сцена обыкновенно происходила в избе и длилась недолго. Надавав затрещин потомкам и тумаков жене, он валился на пружинистое ложе и во всхлипах засыпал. Утром злоба не проходила. Утреннее состояние Сашки было тяжелее похмелья, потому что оказывалось напрочь лишено именно этого смысла. Сашка с завистью смотрел на страшные рожи деревенских мужиков, занятых розысками преимущественно в старушечьих домиках спиртного или денег на него. Сашка сейчас мог и не пить, но тоска душила, и совсем не хотелось идти на скотный двор. А Сашка шел. Он плелся туда скорее, и папироса ступеней огибала губу. У скотного двора Сашка выплевывал папиросу и затягивался новой. Через полчаса он снова закуривал… Сашка курил и сносил навоз в кучи. Иногда среди удобрения появлялась крупная, готовая лопнуть гусеница голубого цвета. Рассматривая ее, Сашка вспоминал учителя ботаники, который работал теперь на картофельном складе и пил, и ругался. Сашка помнил его другим. Учитель тогда только появился в их школе и был чудно непонятен в серо-полосатом костюмчике и ботинках на шнурках. Говорили, что он строил метро в Ленинграде, что заочно учился и вот — результат. Учитель водил Сашкин класс на исток Волги. Они отправились туда с рассветом. У учителя был фотоаппарат и совсем не заспанная физиономия. Еще он срывал растущие вдоль дороги цветы и каждое растение называл по имени. Имен было несколько — латинское, научное, русское и народное, часто знакомое. Сашка запомнил полуразрушившуюся церковь у истока, деревянную покосившуюся часовенку… Сашка снова закурил и поддел навоз вместе с жирной гусеницей лопатой. Сашка выпил одеколона и уснул в сарае вместо дома.

Пил не только Сашка. Пил его отец, пила его жена Любка. Она даже в историю как-то попала из-за вредной привычки. Неприятность случилась зимой. Нежданно, к кому неизвестно, в деревню приехали подозрительные мужики и подговорили Любку с подругой на кражу. Мужики сказали, что поздно вечером сорвут с двери магазина замок, отключат сигнализацию и бери винный аперитив — не хочу. Крали как раз его — крали и складывали, согласно предварительной договоренности, в Любкин погреб. Потом всю ночь пили, потом мужики и уехали. Сашки с компанией не было. Он спал в сарае и видел во сне исток могучей реки, сверкающую новой позолотой церковь и учителя с фотоаппаратом ФЭД на груди… Аферу раскрыли следующим же утром. Зав магазином с неслыханным для здешних мест именем Эфрида, узрев стружки вместо ящика аперитива, не раздумывая, вызвала милицию. Приехавший к обеду участковый узнал прежде, в какой избе ночью горел свет, и отыскал пропажу в Любкином погребе спустя час. Любке с подругой следовало отдать оставшиеся невредимыми бутылки и оплатить стоимость опустошенных. Замок с сигнализацией в подобном случае обещали даже простить. Требованиям препятствовала только Любкина подружка, которая настойчиво лезла в драку и сумела в одну из атак царапнуть участкового. Подругу погрузили в милицейский УАЗик и отвезли в город. Говорили, что и там она вела себя агрессивно и была поэтому немилосердно бита… «Чего не позвала», — буркнул Сашка, тогда на жену не рассердился. «Чего не позвала», — буркнул он, когда УАЗ с подружкой скрылся из вида, и на всякий случай замахнулся бурой рукой. Сашка редко бил жену. Жена была с норовом. Она пила веселее, и Сашка это видел. Ходили слухи, что она погуливает на стороне, и прозвали ее Люба-голуба как раз поэтому. Но Сашка жену за порочным времяпрепровождением не замечал и замечать, похоже, не собирался. Утром скотный двор, днем, если повезет, выпивка, вечером выпивка, если не повезет днем. И другое накатит что непонятное, дикое что-то, рядом никого не окажется: ни жены, ни сынули с открытым ртом, и готово сооружение — табурет с отверстием для удобства, веревка, крюк.

Место второго суицида Сашка заранее не выбирал. Рыбачить на озеро его позвал Васька. У Васьки была сеть, плот, опыт. Сашка согласился. Хотелось рыбы, хотелось на промысле выпить. До озера приятели шли долго. Они спорили, решая, на каком из озер остановиться. Подходящих было несколько. На каждом находился вполне крепенький, редко занятый плот, хороший к нему подход. Место для стоянки. До озера к тому же было недалеко, а до Васькиного — Васькой предложенного — гораздо дальше. Приятели спорили, беспорядочно маша руками. Васька не сдавался и сыпал аргументами: не первый ведь раз, там стоит одна его вчерашняя сеть, там надежный плот. Сашка больше ругался, чем доказывал преимущества своего выбора, и незаметно уступал. Они прошли эти озера, а Сашка продолжал махать потухшей папиросой и хрипло ругаться. Васька, казалось, не слышал ругани. Он ласково говорил о предстоящей рыбалке и очень подробно описывал прошлые удачи при свидетелях. Рыбу с Васькой не однажды ловили дачники, снова и снова просившиеся с ним на рыбалку. В озере, по свидетельству Васьки, ловились сплошь судаки и очень большие окуни. «С судаков окуни», — не найдя нужного сравнения, воскликнул Васька и хлопнул товарища по плечу. «Сейчас тряхнем невод», — добавил он, когда впереди появился характерный просвет и остро запахло озером. На мыску, к которому минут через пять вышли товарищи, был не только плот, но и стол на толстой бревенчатой ножке, пара стульев, марля на кустике, след от костра и бутылки счастливых дачников. Озеро с мыска просматривалось полностью. И погода была хорошая — не жарко, не холодно. «Для рыбалки в самый раз», — перехватив Сашкину мысль, сказал Васька и достал из рюкзака провизию. Бутылку он опустил на стол с грохотом и вслед за этим блаженно затянулся папиросой… Всю бутылку они не выпили и не съели всю еду. Они еще раз покурили и, прихватив рюкзачок, направились к плоту. До Васиных сетей было недалеко — метров сто — сто пятьдесят. Они быстро проверили сеть и, закончив, положили в рюкзак пару окуней и судака с побелевшими от давней смерти глазами. «Не густо», — буркнул Васька, но поспешил товарища успокоить. «Эта побольше будет», — Васька имел в виду новую сеть, которую прихватил в рюкзаке. Сеть ставили долго. Потом допивали за дощатым столиком водку, потом спали… Сашку разбудил птичий крик. Над его головой, совсем невысоко, сокол гонялся за пичугой размером со щепку. Пичуга и кричала. Сашка разбудил Ваську. «Что, пошли?» — спросил он, когда тот раскрыл глаза. «Да, пора», — сонно ответил Васька и почесал голову… На озере было очень красиво. Туман опускался на него медленно, как занавес в театре, и наполовину уже поглотил смог мысок подальше. Мимо Васьки плыл прозрачный дым. Сашка решил, что Васька закурил. После той мысли он перестал думать. Его не интересовал судак, которого Васька погладил, как котенка, прежде чем бросить в рюкзак. Он не услышал пичуги, не увидел погустевшее рядом с товарищем марево. Сашку окликнули. Васька хотел показать ему хваленого окунька. Сашка молчал. Васька потянул сеть снова и одновременно с рывком услышал за спиной громкий, явно не рыбий всплеск. Васька среагировал на звук мгновенно. Он резко шагнул к пустующему краю плота, увидел резиновую узорчатую подошву Сашкиного резинового сапога и ничего больше.

Следователю Васька толком не пояснил, почему не стал спасать приятеля. Еще Васька напугался, потому что был единственным, нетрезвым к тому же свидетелем, потому Сашка последнее время выглядел, по словам односельчан, нормально. Основания бояться у Васьки были. Обвинить-то могли запросто. Однако следствие по делу вести не стали.

Рыбнадзор отнял у Васьки сеть, а заодно и выловили из озера Сашкин труп. Его похоронили на кладбище, рядом с церковью, почти как той, которую в детстве Сашка видел, которая иногда снилась ему во сне.

**Соколята**

До чего все-таки здорОво местное население. Я физическое здоровье имею в виду. Впрочем, о братьях Соколовых можно сказать и так: «ЗдоровЫ Соколовы пить». Таким образом, братья эти здоровЫ и здорОвы как бы. Как раз в Соколятах (так называют местные братьев) стороны эти сплошь и рядом, то есть утром, днем и вечером, не мешая друг другу, переплетаются. Логика проста: напились, скажем, «партизаны» (их еще так в деревне кличут) вечером, заснули хмельным сном, утром проснулись, опохмелились быстренько и живы-здорОвы. Здоровы — вот что удивительно, просто как быки на скотном двое. Ладно, день, другой, неделю, месяц в таком приблизительно режиме провести, хрен с ним, как говорится, можно рискнуть, но год таким вот пьяным макаром прожить, но десять лет — это уже чересчур, тут волей-неволей о бычьем здоровье задумаешься и заговоришь, как я сейчас. Сейчас — вот что изумительно. Сейчас, когда, по словам мамы, «водка — не водка», «вино — не вино» и пьют, получается, Соколята «не водку», «не вино» «не спирт», а то, что горит или вот-вот загорится… Интересно, а можно ли, следуя маминой логике, усомниться в качестве современного одеколона и назвать его «не одеколоном». Мне кажется, что все-таки нет. Отечественный одеколон вполне качественный. Вот и получается, что одеколон всех обманных напитков лучше. А раз так — то почему бы его, одеколон, не выпить. Можно и выпить. Братья Соколовы, например, как-то на ночь глядя выпили целую упаковку. Выпили, и ничего, живы. Я их, между прочим, тем утром видел, поэтому за слова свои отвечаю, и отец мой — тоже видел, значит и он со мной вместе отвечает. А откуда тогда я про упаковку знаю? Оттуда и знаю, от Соколят самих. Соколята эти нам с отцом, вернее отцу только, так и сказали: «Пили вчера одеколон “тройной”, Николаевич. Ух-х-х-х. Целую упаковку приговорили. Ах-х-х-х». «Эх-х-х», — словно почувствовав состояние братьев, отозвался отец и переложил корзинку с малиной из одной руки в другую. «Чего это у тебя, Николаевич, грибы?» — рассматривая малину, спросили Соколята. «Да, пожалуй», — ответил отец и попрощался с братьями… Немудрено с такого перепоя малину с грибами перепутать. Так что в этом отношении братьев можно понять. Непонятно другое. В голове не укладывается, как они умудрились почти весь потом день работать, халтурить то бишь, у одной москвички. Не навоз же они ей таскали, другую же совсем работу делали — баню сооружали, бензопилой и топором орудовали. Ну, а вечером, по окончании работы… ясно, в общем, без слов, что делали вечером Соколята.

А если вспомнить дела минувшие, время лет на пятнадцать — двадцать вспять, что ли, повернуть… Что тогда? Тогда Соколята орлами (я думаю, игра слов в данном случае простительна) по деревне ходили. Я их на сенокосе как сейчас помню, и сестра моя помнит, недавно даже вспоминала. Мы тогда с ней загорали, а на взгорке покос братцев как раз находился. Вот мы их за работой и лицезрели. Ну красавцы просто. Оба высокие (средние на самом деле), светловолосые, белозубые. Еще у обоих красные, прямо алые рубашки. Ну, идиллия. Ну, Пластов. В общем, орудуют труженики косами и на сестру посматривают. И тут вдруг откуда не возьмись супруга их. Да, я не путаю, именно их. Жена, безусловно, была только у старшего брата, но в то же время объяснять это долго, младший Соколов себя при таком положении вещей холостяком себя не чувствовал. Такая вот пикантная история: двое мужчин — братьев в данном случае — у одной женщины. Итак, когда братья рты раскрыли дружно, желая сказать сестре комплимент, откуда ни возьмись появилась любвеобильная жена и так в нашу с сестрой сторону посмотрела, что мы мгновенно, с визгом бросились в озеро… А еще картинка, еще эпизод. Мчится, например, по пыльной дороге красный, как сатиновая рубашка братьев, мотоцикл «Ява» и несет он братьев на очередную шабашку. Хороша картина. Мотоцикл, братья, развевающиеся на ветру их светлые волосы, пузырем надувающиеся, нет не красные, на этот раз светлые в беспорядочную крапинку рубашки. Один брат за рулем, другой сзади бензопилу двумя руками к груди прижимает…

Сейчас (вернемся все же после короткого отступления в наши невеселые дни) с пилой у Соколят проблема. Сама пила вроде есть, а цепи нет, вроде потеряна, точнее пропита. И с мотоциклом тоже не все в порядке. Он тоже, как пила, так же примерно, как и она, себя чувствует. Есть мотоцикл, тот же, что и раньше — красная, значит, «Ява». Но вот бензина к нему нет. Ну, а если быть до конца последовательным, то можно и о бензине сказать, потому что бензина нет только у Соколят. Выходит, что есть бензин, существует там, где положено ему существовать, только вот денег на него у братьев нет. Чего еще нет у братьев? Совести. Мама так и сказала недавно: «Нет у Соколят ни стыда, ни совести». И основания так говорить у мамы были. Мама, в общем-то, и пострадала в какой-то степени. Морально — уж точно. Подходят как-то раз утром к нашему дому Соколята и стук-стук-стук в окошко и «Хозяин дома?» — кричат. «Нет его», — с постели откликается мама. «А где он?» «На озере рыбачит». «Тогда ты нам нужна, вставай». «Что вам нужно, в конце концов?» «Вставай, тогда скажем». «Я не встану, а вы сейчас же уходите». «Нам деньги нужны, поэтому мы никуда не уйдем, а ты вставай». «Вы нам уже должны — это, во-первых, а во-вторых, у нас денег нет». «Про долг мы помним, а новые деньги ты все-таки поищи». «Денег нет, мы с мужем пенсионеры. Поймите». «Понимаем, но ты все равно поищи…» Такой диалог у мамы с братьями приключился, подобных ему было, между прочим, множество. Нет, Соколята долги отдавать старались. Старались и мясом отдавали. Стучат, к примеру, с утра пораньше и в окошко точно, на марле прямо долг протягивают. Но в последний раз долг остался за ними. Не смогли, не сдюжили Соколята, не хватило на всех, видно, свинины. Дрова теперь в качестве компенсации собрались нам заготовить. Дров, правда, больше долга, если можно так выразиться, получится, так что весной мы уже Соколятам будем должны. Ну, это все мелочи, рассчитаемся как-нибудь. Меня больше другой вопрос занимает. До чего все-таки здорОвы братья Соколовы. И выпить здоровЫ, и закусить, и… дрова заготовить. Вообще, деревенские, конечно, не городские. Поздоровее деревенские городских. Ну, это все природа-мать. Если б еще, плюс к природе, сельчане не пили… Вопрос сложный. В общем, пьют деревенские, здоровья не щадя. И вот уже Капитонова в больнице полежала. Лечилась и невестка Митьки пастуха, и Колька-сирота тоже. Одним Соколятам хоть бы что. Никуда они не попадают. Здоровые потому что, и ничего с их здоровьем не делается. Утром разве что. Но утром же жизнь, как известно, не останавливается. Утром она только наступает, начинается, если быть точным.

**Борис**

Деревенские рассказывали, что первый и самый большой срок Борис отсидел за убийство на почве ревности своей жены. Кто знает, может и не убивал он супруги, может ранил тяжело, но то, что трагедия разыгралась в местечке с красивым названием Кувшиново, — точно. Точно потому, что вторая жена Бориса Лида в порыве гнева очень любила прокричать: «Ух, змей кувшиновский!».

После отсидки до родного поселка Борис не дошел. Ему не обязательно было туда возвращаться. Он мог запросто остановиться от поселка с красивым названием неподалеку, в деревушке, до которой добраться от районного центра можно только на лошади или попутной машине. Наверное, он остался в нашей деревне неспроста. Видимо, ему предложили там работу и жилье. Вскоре Борис женился и стал жить с женой, тещей и приемной маленькой дочерью. Как раз из-за тещи — бабы Насти — и схлопотал Борис свой второй срок. Агнцем, что вполне естественно, после исправительно-трудового учреждения он не стал. Как прежде, Борис пил, курил, поколачивал супругу и кривлялся при виде маленькой дочки. Теще поведение зятя не нравилось. Теща, как могла, заступалась за домашних и с утра до вечера кляла ненавистного зятя. Она была гораздо больше плюгавого родственника и, наверное поэтому, однажды, когда семейная ссора переросла в драку, не смогла избежать касания своим мощным телом с острым и тяжелым предметом. Местные говорили, что метнул Борис в тещу топор, следователь уже через неделю говорил о тесаке. Разобраться с типом холодного оружия тогда так и не сумели. В протоколе, однако, значилось, что в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый нанес ранение холодным оружием собственной теще, после чего заснул на сеновале, так как жена открыть дверь в избу не сочла возможным. Она же и оказала первую медицинскую помощь пострадавшей матери. Очень скоро проступок Бориса резонно сочли уголовно наказуемым, и он во второй раз отправился в места не столь отдаленные… Тем временем баба Наталья оправилась от раны, но вдруг заскучала в осиротевшей избушке и спустя год безмолвно почила. После похорон в гости к супруге Бориса Лиде зачастили «девочки Кольцовы» шестидесятилетнего возраста. Сестры, как следовало из злой деревенской клички, замужем никогда не были, зато чутко относились к супружеским проблемам горемычной соседки. Как-то Кольцовы подстерегли Лиду вечером, когда после трудовых будней она сидела у приемника, внимая хитросплетениям радиопостановки. «Тяжело тебе, поди?» — обратились к Лиде сестры. «Видим, тяжело», — сразу же ответили за женщину бабули. После подобного вступления старшая Кольцова обычно обращала внимание на косоглазую дочурку, которая стояла на толстоногом табурете и ввинчивала в кухне новую электрическую лампочку взамен перегоревшей. «Дочка у тебя золото», — говорила старшая Кольцова Лиде и одергивала за рукав сестру. «Бросить тебе Боца надо. Развестись, пока не поздно», — молвили хором Кольцовы. Лида начинала плакать, а «девочки Кольцовы», прихватив банку парного молока, как ни в чем не бывало плелись в свой феминистский домик. Когда сестры засыпали, с улицы доносился призывный стук в ставни и появившаяся в оконце простоволосая Лидина голова кричала с первомайским воодушевлением: «Не разведусь, слышите! Не разведусь!». Утром, проходя мимо сосредоточенно собирающих клубнику Кольцовых, доярка говорила спокойно: «Не пойму, что вам Боц сделал?». «Бандит он», — оторвавшись от кустов, отвечали Кольцовы. «Мой Боц — хочу и жду», — говорила доярка и шла на трудную работу с письмецом от мужа в кармане синего технического халата.

Вернулся Борис в деревню летом, в самый разгар сенокоса. Он так обрадовался воле, жене, пионерского возраста дочурке, что не запил, не побежал с поленом за непонравившимся сельчанином, а взял в руки косу и точило. Он работал самозабвенно и радовал примерным поведением жену, дочь и даже сестер Кольцовых, созерцавших его в окошко. «М-да, не узнать Боца», — говорила одна Кольцова другой. «Погоди, покажет еще норов», — отвечала сестра и, глянув на заоконный августовский пейзажик, продолжала: «Увидишь, непогода начнется — тогда…». Похоже, ненастье Кольцовы накликали. На следующий же день с раннего утра пошел дождь и лил целую неделю. «Непогодка какая, глянь», — обращалась старшая Кольцова к сестре. «Непогода, самая настоящая», — откликалась та. «А ты открой окошко», — призывала из-под иконки старшая. «Зачем?» — спрашивала младшая из-под спидолки. «Открой, открой». Сестра открыла форточку. Вместе со свежим влажным воздухом в комнату влетела размером с крупный снежок шаровая молния и, достигнув середины комнаты, замерла. Спустя секунду-другую шар развернулся вокруг своей оси и прежней траекторией ринулся в открытое окно, затем во двор, где тотчас скрылся за кустом черемухи. Кольцовы переживали происшествие недолго. Под иконку к старшей пришла младшая, и после сбивчивой молитвы, не сговариваясь, поспешили закрыть наделавшее столько неприятностей окно. «Бывает же», — произнесли хором сестры и достали из карманов металлические табакерки. Нанюхавшись табаку, сестры вытерли передниками коричневые носы и в это же мгновение услышали сильный удар в ставни. После первого удара последовал второй, третий. Очередной удар разбил стекло, и испуганному взору сестер предстало увесистое полешко, а вслед за ним злое лицо Бориса. «Что, сплетницы, дождались. Что вы Лидке про меня наговорили, признавайтесь!» «Мы милицию вызовем», — обыденно сказали сестры Борису. «Вы мне все скажите, змеи!» — закричал Борис и исчез. До очередного окошка он уже добраться не успел. Внезапно, как шаровая молния, к домику Кольцовых подъехал участковый милиционер и… время для Бориса снова потекло медленно.

Жена дождалась Бориса и в третий раз. Садиться в тюрьму снова Борису решительно не захотелось. Все вокруг стало меняться на глазах. В магазин местное население стало ходить не только с деньгами, но и с талонами, умерли Кольцовы, в Ленинграде у приемной дочери родился сын. Жить стало труднее, и Борис принялся за работу. Днем он пас поредевшее совхозное стадо, а вечером, наспех расправившись с домашними делами, садился на неказистый плотик и рыбачил до заката. В рыбалке, как казалось, его занимал сам процесс. Случалось, что рыба не клевала, не ловился даже ерш, однако маленькая сгорбленная фигурка Бориса никуда с озера не девалась. Жене столь однообразный досуг мужа не нравился. Она кричала на него, как раньше: «Змей ты кувшиновский! Займись делом!». Действительно, дел в хозяйстве было много. Жена не сгущала красок. Борис лавировал между тремя самими по себе очень важными делами. Утром и днем он пас стадо, вечером чинил изгородь или что-нибудь еще, а после, выдержав громогласную атаку супруги, прихватив самодельную удочку, спешил на буквально расползающийся под ногами плот. Осенью Борис приобрел недорогую голубого цвета лодку, а в конце зимы захворал и лег в больницу. До пенсии, как до лета с новым плавательным средством, оставалось несколько месяцев. Однако выздороветь Борису было не суждено. И однажды, когда в больничном палисаднике зацвел высокий куст сирени, Борис умер.

**Совхозная идиллия**

Сельский библиотекарь Вера Михайловна проснулась рано утром и босая подошла к настенному отрывному календарю. «Суббота… В субботу — выезд в бригады», — вслух произнесла Вера Михайловна, чем разбудила мужа — работника местного лесхоза. «Да, Верка. Поспеши», — хрипловато отозвался с кровати муж и снова уснул.

Вера Михайловна умылась, выпила чая с вчерашней шаньгой и пошла в библиотеку. Она шла быстро, и окрестные пейзажи вскользь проплывали мимо ее сосредоточенного взора. Вот была и исчезла шумная овечья отара, коровник, зелененькое сельпо, голубенькая начальная школа… Как только Вера Михайловна шагнула за порог библиотеки, раздался телефонный звонок. Бесстрастный голос инструкторши из районного центра поспешил напомнить: «Ты не забыла, что сегодня выезд в бригады». «Не забыла. Сейчас соберусь и пойду», — ответила Вера Михайловна и услышала снова: «Ты что намерена с собою взять? Какие книги?». «Стихи Степана Щипачева, роман Андреева “Русский лес” и повесть Бунина “Деревня”». «“Деревня”, — заволновалась инструкторша в трубке, — там же неприличные сцены, женские коленки в рейтузах или что-то в этом роде». «Колени в “Митиной любви”, — ответила Вера Михайловна. «Все равно. Если не ошибаюсь, в “Деревне” что-то было… Возьми Чехова», — закончила инструкторша и попрощалась. Кроме Бунина (инструкторшу Вера Михайловна не послушалась) она взяла с собой в большом походном рюкзаке несколько популярных журналов, сборник кроссвордов и техническую документацию к трактору «Беларусь»…

Тракторная бригада работала на отдаленных угодьях совхоза «Заозерный» третью неделю подряд. Лучшему трактористу в качестве поощрения совхоз обещал на выбор стиральную машину или телевизор. Бригада старалась, и каждый из бригады косо посматривал на товарища и результаты его труда.

Субботнее утро бригада встретила буднично. Первым из шатровой палатки вышел тракторист Никитин в розовой основательно выляневшей майке и, глянув на ясный рассвет, достал из штанов пачку папирос. Никитин вынул ее ловко, как фокусник очередной платок из кармана, и прикурил, воспользовавшись спичечным коробком с черным на желтом фоне самолетиком. На удивление тракториста, как только он поднял вверх голову, рассветное небо прорезал самолетный зигзаг. Никитин принял исходное положение и, отогнув полог палатки, скомандовал: «Бригада, подъем!».

Вера Михайловна услышала шум тракторов еще в лесу. Шум проникал сквозь густую листву приглушенно, однако ориентиром служил вполне. Через четверть часа Вера Михайловна стояла на взгорке и на фоне ярко-зеленой сочной листвы воспринималась так же отчетливо, как и тракторы «Беларусь» среди спелой народной ржи. Вдохнув полной грудью, Вера Михайлова шагнула навстречу бригаде решительно и очень скоро оказалась рядом с шатровой палаткой. Библиотекаря первым заметил бригадир Никитин. Он заглушил мотор, чем навлек на себя десяток недоуменных взглядов. Вскоре и остальные увидели Веру Михайловну, отмашкой приветствовавшую Никитина, и последовали за бригадиром. Когда трактористы подошли к палатке, разговор между Никитиным и Верой Михайловной уже кипел. Бригадир спрашивал женщину о деревне, о родных и о… руководстве к трактору «Беларусь». На все вопросы Вера Михайловна отвечала обстоятельно и просовывала маленькую руку в рюкзачок. Через мгновение трактористы увидели несколько толстых с золотым теснением книжиц, десяток неаккуратных записочек от родственников и большое, очень похожее на музыкальную хрестоматию руководство по эксплуатации трактора-кормильца. Руководство Никитин сразу же отнес в палатку, где спрятал в груде личных вещей. Остальные разобрали записки родственников со скоростью, которая обычно сопровождает действия детей, когда те видят и желают немедленно взять какую-нибудь сладкую вещь, наподобие конфеты или пряника. Расхватав писули, трактористы принялись их читать, а библиотекарь Вера Михайловна решала, как лучше построить предстоящий литературный полдень. «Может действительно, Бунина следует исключить», — вспомнив утренний инструктаж, рассуждала про себя Вера Михайловна. «Если все же Бунина оставить — то какие отрывки лучше прочитать, как их прокомментировать…» — мысли роились в ее голове, напоминая реакцию трактористов в миг, когда бригадир неожиданно остановил трактор.

«Начнем с Щипачева», — вслух произнесла Вера Михайловна, чем отвлекла трактористов от домашних посланий. «Ты чего, Михайловна?» — хором отозвались на реплику трактористы. «Ничего. Готовлюсь», — поспешила успокоить их библиотекарь. «А… Вот ты о чем!» — включился в разговор Никитин. «А как же. Суббота — выезд в бригады. Не тобой придумано». «Да я не спорю, Михайловна. Дело нужное. Только беспокоиться тебе ни к чему. Книжки оставь, да спать — вон в палатку иди», — сказал тракторист Никитин участливо и добавил: «Ты журналы-то принесла?». «Принесла», — ответила Вера Михайловна и вздохнула. «Ладно, предлагаю компромисс», — снова заговорил бригадир. «Какой?» «А такой. Ты стишок нам прочти — вот хотя бы, как его, Щипачева, а потом спать иди. Сегодня снова в путь неблизкий». «Хорошо», — недолго поразмыслив, ответила библиотекарь и открыла маленькую в глянцевой обложке книжицу. «Плуг и борозда», — вслух прочитала Вера Михайловна название стихотворения. «О, дело», — откликнулся Никитин. «Давай читай, Михайловна», — отложив домашние письма, хором подхватили трактористы. «Не томи, Вера», — словно подвел черту бригадир Никитин и решительно опустился на землю. Примеру бригадира последовали остальные, и когда Вера Михайловна прочитала первые строки, трактористы уже расположились на свежей траве…

Читала Вера Михайловна с чувством, многие строчки стихотворения «Плуг и борозда» она помнила наизусть, и когда наступал их черед, отрывала глаза от книжки и мечтательно смотрела на огромное небо, притихший лес и бескрайнее ржаное поле.

Спала Вера Михайловна спокойно и крепко. Она проснулась через несколько часов и увидела вокруг палаточный брезент. Шум тракторов бибилиотекарь услышала спустя мгновение и, окончательно придя в себя, стала собираться в дорогу. Собралась она быстро. Только сборник повестей Бунина заставил ее на некоторое время задуматься. Вспомнив назидание инструкторши, Вера Михайловна осторожно взяла книжку в руки и столь же бережно опустила на дно рюкзачка. Сверху она положила перетянутые бечевкой ответные трактористские послания и застегнула рюкзак.

К вечеру Вера Михайловна была в библиотеке. Когда она расстегнула рюкзак, раздался телефонный звонок и инструкторша в трубке спросила: «Ну как дела, Михайловна?». «Нормально. Все хорошо», — ответила библиотекарь и услышала в ответ: «Поздравляю с прибавкой». «Какой?» «Пятерку тебе накинули и разряд повысили», — задорно сказала инструкторша. «Спасибо», — растерянно отозвалась Вера Михайловна и, не попрощавшись, повесила трубку.

Невзирая на косые взгляды товарищей, тракторист Никитин был признан на совхозном активе лучшим и через неделю из рук директора получил специальную справочку сразу с несколькими печатями и столькими же подписями. А еще через неделю Никитин отоварился в большом магазине районного центра стиральной машиной. Ее он прямиком доставил в собственную баньку, тотчас выстирал в ней все постельное белье и повесил его рядом с баней сушиться. Белье колыхалось на прохладном ветру, невдалеке сверкало первозданной красой большое озеро, а в небе медленно, очень торжественно проплывали облака, похожие на взбитые сливки.

**Колька**

Вместо того, чтобы прожить предполагаемый врачами весьма короткий срок, Колька прожил гораздо дольше. Когда и где заболел он тяжелой болезнью, никому так и не стало известно. Историю недуга знать хотели многие и думали, что, видимо, зашибли Кольку в армии, что осталось посему внутри солдатского организма кровоизлияние, которое и дало себя знать уже дома, в деревне. Кольку тогда положили на обследование, и когда результаты анализов стали известны окончательно, врачи вынесли ему столь страшный вердикт — жить не больше года. Придавленный решением консилиума, Колька вернулся в деревню и… стал жить. Колька не запил, не предпринял попытку самоубийства. Напротив, он починил лодочный мотор, купил двухстволку, военный тулуп и — где неизвестно — раздобыл молодую и очень смышленую лайку. Подобным образом экипировавшись, Колька начал самозабвенно охотиться. Охота доставляла ему не только свойственное этому роду занятия удовольствие, но и средства к существованию. Часть денег, вырученных от продажи зверья и дичи, Колька отдавал матери, а часть оставлял себе. Охотился он самозабвенно. На промысел Колька, случалось, отправлялся даже в сумерки. Его моторка с черно-белой лаечкой на носу трескуче заводилась и несла Кольку к очередному охотничьему угодью. Охотился Колька на любую живность, кроме разве что медведя. Да и на того, поговаривали, он ходил, но вроде бы зверя не обнаружил или, повстречав, решительно затею оставил. Только у одного Кольки, например, водилось спасительное барсучье сало, которым не раз после ожога пользовались пострадавшие сельчане. «Вот ведь сало барсучье — штука какая целебная! Кольке спасибо, он дал», — так примерно звучала реплика пострадавшего или свидетеля чудесного исцеления. «Да. Коля у нас первый охотник», — кто только в его адрес не говорил. А ведь охотились и другие. Ракитин, например, Виноградов, скажем, или приезжавший в деревню на охотничий сезон из Ленинграда Борис Михайлович. Охотники наведывались в эти края отовсюду и перво-наперво шли к Колькиному дому. В теплой избе они выспрашивали у хозяина охотничьи маршруты и умоляли за хорошие деньги продать знаменитую лайку. Предложения охотников Колька отклонял, а бутылочку — обязательный атрибут переговоров — отодвигал в сторону.

На следующий день c раннего утра Колька спускался к озеру, бросал в моторку охотничий скарб и вместе с черно-белой лаечкой, которая тотчас скульптурно замирала на носу, отправлялся на охоту… Еще он рыбачил на лесных, закаряженных озерах. Конечно, ему везло. Жерлицы зимой на озерах ставили многие — тот же Ракитин. Но на Колькины жерлицы судак или щука попадались гораздо чаще. Именно Колька выловил однажды огромную, прямо сказочную щучищу. Пасть у нее, говорят, была такая, что морда Колькиной собаки влезала в нее запросто. Когда щуке вспороли брюхо, то обнаружили штук пять самых разных крючков, один из которых был, кажется, серебряным и, по всей видимости, очень старым… Был у Кольки еще мотоцикл и огромный военный тулуп с голубым овчинным воротником. Таким он мне запомнился — в тулупе с золотозвездными пуговицами на мотоцикле «Ява»… Людей Колька не сторонился. Он нередко встречался с ними, когда направлялся вместо матери в местный магазин и разговаривал, конечно. Потом брал хлеб, булку, еще что-нибудь, неспешно засовывал продукты в рюкзак и, оседлав «Яву», возвращался домой… Колька очень хотел жить и жил, как ни в чем не бывало, переступив отмеренный врачами рубеж. Однажды он лег в больницу, на плановое обследование. Результаты анализов продолжали грозить Кольке скорой смертью, но недолго посовещавшись, врачи отпустили Кольку домой. В деревне он прожил еще один рекордный срок, в течение которого ни разу не изменил своему благословенному распорядку. Как раньше, Колька охотился и рыбачил… Кольку не забывали. Летом в деревню приезжал его старший брат с детьми, племянница с мужем, отец племянницы — татарин. Компанию Колька вместе с матерью принимал радушно, а после, к зиме ближе, ездил к родственникам в Тверь, навестить.

Умер Колька осенью. Однажды ночью он почувствовал острую боль в желудке и с утра пораньше собрался в город. В больнице через неделю Кольки не стало. Летом вновь нагрянувшие в округу охотники бросились к Колькиной избе. Решив, что времени с его смерти прошло достаточно, охотники попросили Колькину мать продать лайку. Но мать на уговоры не поддалась, и охотники уехали ни с чем. Она не продала даже моторку, даже Колькин мотоцикл. На нем гоняли летом шебутные племянники, и даже молчаливый татарин пробовал как-то его укротить, но не справился с управлением и рухнул вместе с машиной в канаву. После этого случая татарин расчертил на дороге «классики» и, возвращаясь из магазина с хлебным рюкзачком за плечами, нет-нет покорял неясно начертанные клетки. Потом татарин уехал, а в деревню пожаловал старший Колькин брат и заявил, что вернулся в деревню навсегда, что в Твери у него неприятности с женой и работой. Мать не сразу поняла, почему сына выгнали с работы и из дома. Но вскоре поняла отчетливо, потому что из комнаты исчез транзистор, а спустя час с небольшим домой пришел крепко выпивший сынуля и спел вместо транзистора. Мать загоревала, списалась с его женой, попросив у той помощи. Супруга вместо этого описала нетрудовые подвиги мужа и свою нынешнюю, вполне счастливую жизнь… В деревне Колькин брат остался на всю осень. Он ловил в озере рыбу и пробовал охотиться, но получалось это у него неважно. Деньги добычей он практически не зарабатывал, и в ноябре из дома исчезла законсервированная свинина в трехлитровой банке, электронные весы и Колькин тулуп. Брат посягнул, было, на лайку, но понял, что продать собаку выгодно в одночасье вряд ли удастся, а вот щенка ее, из соседней деревни, попробовать можно. Операцию захвата пса он отложил до утра и отправился спать. Но аферу ему осуществить не удалось. Накануне вечером, когда Колькин брат задумчиво трепал за ухом лаечку, в соседней деревне чинил расправу с ее щенком злой какой-то человек. Он осерчал на пса за то, что тот загрыз его любимого дымчатого кота редкой какой-то породы. Рассвирепев, мужик треснул пса по голове чем-то тяжелым. Щенок сдох. Узнав об этом, Колькин брат реализовал среди дачников консервированную свинину и приобрел в магазине под укоризненные взгляды сельчан желанную бутыль. Вечером он сидел в комнате рядом с открытым окном и безостановочно курил. Он курил и тяжело хмелел, а ветер трепал ситцевую цветастую занавеску…

**Остроумиха**

Это сейчас старухе Остроумовой было не просто, беспокойство доставлял вернувшийся в деревню сын — драчун и пьяница. А до этого, пока жил он в Калининграде и трудился в рыбхозе и до рыбхоза тоже, Остроумова жила хорошо… Хорошо, когда рядом мужчина. Он и дом срубит, и печь сложит, и песню споет. Мужчин в долгой жизни Остроумовой было трое. Первый — веселый и сильный человек — пошел на войну и погиб на фронте. Он оставил молодой Остроумовой троих детей и небольшое хозяйство. В горе утраты вдова не была одинока. Не вернулись мужья к Дарье, Груше, не вернулось трое сыновей к бабе Кате…

Жилось после войны в колхозе трудно. Остроумовой приходилось много работать, успевать по дому и растить детей. С ними у нее отношения складывались неважно. Детям не нравилась ее чрезмерная строгость, зачастивший в дом незнакомый шумный мужчина с необычной для здешних мест фамилией Шермак — председатель соседнего колхоза…

И вот в один прекрасный для Остроумовой со всех сторон день председатель оставил колхоз, семью и пришел к новой возлюбленной затемно в военной шинели и вещевым, с войны оставшимся мешком.

Остроумовой завидовали и прозвали, поэтому или нет, Шермачихой. Что касается председателя, то он новую жену любил всем сердцем в новом вместительном доме, который срубил сам, и довольно быстро. В новом жилище он и печь сложил, и раздобытой председательскими путями краской выкрасил сосновую лежанку. Вот только с приемными детьми Шермаку сблизиться так и не удалось. Даже с пацаном, с Женькой. Женька первым оставил отчий дом. В 18 лет его призвали в Кронштадт, в городок, который и некоторое после окончания службы время оставался его домом. К себе Женька в конце концов переманил и сестер, достигших к этому моменту совершеннолетия. Они уехали к брату без раздумий. Так Остроумова осталась с мужем вдвоем и зажила в удовольствие. В это время и умерла в соседнем колхозе первая жена Шермака. Женщина словно позвала за собой председателя. Спустя всего несколько месяцев Шермак почил на сосновой лежаночке, чем доставил невообразимое горе Остроумовой и радость завистницам-бабкам.

Остроумова переживала потерю долго. Но силы, как прежде, нашлись. Нашлись и понесли по жизни дальше. Остроумова доила в колхозе коров, вела домашнее хозяйство и переписывалась с детьми. Так, незаметно, прошел год, другой. Остроумова поздравила с законным браком старшего сына Женьку и радовалась пополнению в его семье. Когда Женька перебрался в Калининград, Остроумова знакомилась с третьим по счету ухажером.

Пятидесятилетие женщина встречала с песнями и новым, гораздо ее младше любовником. Колька Гиря (так звали его местные) раньше жил в деревне, но потом закончил в городе ремесленное училище и стал работать на одном из ленинградских заводов. Несмотря на новый образ жизни, деревню Колька навещал часто, и вот зимой в один из таких визитов он и познакомился ближе с дважды вдовой. Раньше Гиря обращался к ней на Вы, звал за глаза Шермачихой, но вдруг — все изменилось совершенно. Деревенские бабки, объясняя причины странной связи, сошлись во мнении, что дело тут явно не чисто, что подмешала Остроумова в крепленое вино собственную кровь, сказала соответствующее моменту словцо, крутанулась разок на месте — словом, предприняла настоящую ворожбу. Пошла ли в действительности вдова на это, неизвестно. Скорее всего нет, зато покупками, среди которых был чудесный, весь в розах платок и синее трикотажное платье, обзавелась точно. В обновах Остроумова запомнилась многим. Кольцовым, например. Но сестер Остроумова скорее всего внешним видом задела. Наверное поэтому они и дали вдове новую кличку «бабушка», подчеркивая таким образом ее преклонный возраст и запоздавшие по времени любовные потуги вдовы. Деревенским кличка понравилась, и «бабушка» осталась с Остроумовой надолго.

Удивительный роман продолжался после зимы все лето и весь следующий год, в течение которого Гиря приезжал к даме сердца не раз и не два. Свидетельницы из местных бабок говорили, что когда Колька пожаловал к вдове последний раз, цифра эта перемахнула десяток. Тринадцатый визит (на этой именно цифре настаивали свидетельницы) Гиря был пьян отчаянно. Оказалась в крепленом вине «бабушки» кровь или нет и было ли это непременно вино, а не самогон, но пьяным Колька оказался не на шутку. Ему помогали всю до районного Осташкова дорогу, ему даже помогли купить билет до Ленинграда, однако ночью, когда на станции Бологое поезд затормозил несколько резче обычного и Гиря упал с верхней полки, — постороннего участия не последовало. Падая, Колька ударился обо все, что можно было удариться, и умер спустя сутки в больнице.

Утрату Отсроумова, надо отдать ей должное, переживала стоически. Деревенские же Колькиной смерти напугались и с новой силой укрепились во мнении, что вдова не проста и черны ее очи. Впрочем, так считали не все. И до, и после Кольки Гири подружки из ровесниц и не только у Остроумовой оставались. К ней, например, хорошо относился полковник-дачник и его супруга. Не забывали Остроумову и родственники — племянник на бежевом «жигуленке», старшая дочь с внуками. Остроумова была с ними строга, но никогда раньше срока из дома не просила и исправно собственноручно топила старенькую баньку. Отдавать прошлые долги, сэкономленное что ли за последнее время тепло, у Остроумовой получалось. Она и сына приняла хорошо, хотя знала, как пил он в приморском рыбхозе, как дрался с женой. В рыбхозе к тому же сын не доработал и стал поэтому ждать пенсию в доме вместе с матерью, из которого однажды и так надолго ушел…

Сначала все шло нормально, сын взялся за работу рьяно и за одно только лето укрепил старую баньку, провел в ней электричество и воду в дом. Тогда же он сделал сруб для бани новой и два довольно больших и удобных парника. А по мелочам сколько было сделано дел небольших, в глаз не бросающихся. Сын сам сплел рыболовную сеть, другой совсем, металлической сеткой отгородил собственный земельный участок, после чего курицы, до этого момента шныряющие где попало, а чаще на участке соседа-полковника, перестали это делать. А сколько грибов-ягод натаскал сынуля из не очень-то плодородного леса… Говорили, что он стал рубить даже особую какую-то тропу специально для себя и своих будущих урожаев. Не остались без внимания и лесные озера. На них (трех или четырех) сын ставил жерлицы, донки, переметы и черт знает что еще. С хваткой, короче говоря, оказался вновь обретенный Остроумовой сынуля и редко за алкоголем замечаемый.

Мать на сына не нарадовалась. А как она всполошилась, когда он сцепился с соседкой Райкой, как закричала: «Не тронь мальца!» и бросилась на здоровенную Райку. Она буквально выскребла тогда сына из ее страшных объятий и потом целую неделю осматривала ссадину на его лбу.

Неприятности с сыном у Остроймовой начались зимой. Зорким карим глазом Евгений Иванович (так звали сынка целиком) узрел вредные привычки местного населения, частое отсутствие горячительного в местном сельпо и рванул за алкоголем в областной Осташков. Три бутылки спирта «Рояль» он превратил в результате в ящик ужасной водки и впервые после приморского рыбхоза ощутил в руках хруст денежных купюр. Евгений Иванович продержался в новой необычной для себя роли месяц, а после пригубил собственного изготовления спиртной напиток вместе с одним из односельчан и… Напившись, сын дурел и вымещал злобу на самом близком человеке. Мать пряталась, жила когда у кого. Она пробовала жаловаться участковому. Она просила помочь полковника, когда тот в декабре наведался в деревню по делам. Полковник, конечно, поговорил с Евгением Ивановичем, но результатов не последовало. Нагрянувший после того, как полковник уехал, участковый был резче и конкретнее: «Через неделю будь готов с вещами. Отсидишь пятнадцать суток за дебош с дракой». Но вскоре после визита участкового вышло распоряжение, раз и навсегда кончающее с популярным наказанием, и Евгений Иванович возликовал. Он выпил, погрозил матери ножиком и довольный уснул…

Весной Евгений Иванович возжелал дополнительной земельной площади и нового сруба. Он получил в результате и то, и другое. Летом он стал ловить рыбу уже по-крупному, сетьми, и продавать добычу в городе. Вырученные от продажи деньги тратились им на хозяйственные приобретения. Для будущего дома, таким образом, появился шифер, оргалит, гвозди, скобы, бензин для пилы, квадратный в сечении брус и много чего еще. Еще Евгений Иванович отпраздновал шестидесятилетие и получил, наконец, первую пенсию. Удивительно, но он молча пережил счастливое событие, то есть не напился и не забуянил. Скорее всего, Евгения Ивановича смутили свидетели — сестра с внуками, племянник с дочкой. Но когда компания разъехалась, терпение его лопнуло, а Остроумова оставить дом вовремя не успела. После происшествия она сказала, что спас ее от погибели полковник-сосед, что молиться теперь за него она будет денно и нощно и исправно снабжать куриными яйцами. Полковник вырвал Остроумову из рук сынули — факт. Полковник этого не скрывал. Он услышал шум драки с улицы и влетел в избу. Драка происходила в сенях, вернее, она уже затухала, потому что Евгений Иванович действовал без каких-либо препятствий со стороны полностью ослабевшей матери. Сын душил ее одной рукой, а другой, пальцами точнее другой, пытался порвать рот. Он крикнул полковнику в сенях: «Зря зашел». Однако тот не послушался и вырвал Остроумову из его рук и пальцев.

Остроумову жалели. Все знали прекрасно, что подобное происходит с ней не в первый раз, а сынулю все никак не накажут. Остроумова жила когда у кого. Только по истечении третьей недели при большом количестве свидетелей она ступила на порог собственного дома. Сын дал слово больше ее не трогать. На пороге прямо дал и попросил, чтобы мать забрала заявление. Но слову Остроумова не поверила и заявление не забрала, в надежде, что последствия для дебошира все же последуют. Однако незаметно, с разговорами, проработками и увещеваниями семейные страсти улеглись, и Остроумова стала жить с сыном, как жила…

А раньше, когда его рядом с ней не было, когда он работал в рыбхозе и до рыбхоза тоже, ничего подобного невозможно было даже представить. Раньше все было иначе и лучше.

**Дятлов**

Здоровье пошатнулось у Дятлова после одного армейского происшествия. Однако и после него сельчанин продолжал относиться к Вооруженным силам вполне уважительно. Началось все с того, что по истечении положенного срока Дятлов остался на сверхсрочную службу и возглавил продовольственное подразделение в родной военно-воздушной части. Служба у нового сверхсрочника текла как по маслу, за которое он, благодаря спецификации должности, с утра до вечера отвечал. Старшие начальники к Дятлову относились снисходительно и частенько обращались с никак уставом не предусмотренными просьбами. Дятлов рассказывал, что, приблизившись, офицер клал широкую ладонь на его плечо и говорил с улыбочкой: «Знаешь что, Дятел?». «Что?» — вопрошал сверхсрочник. «Принеси-ка мне качественную сигарету», — с улыбочкой продолжал офицер и хлопал Дятлова по плечу. «И вот я уже лечу, ищу начальнику качественную, а значит обязательно болгарскую сигарету», — вспоминал часто повторяющийся эпизод бывший сверхсрочник. Но о происшествии молчал. Говорили односельчане, со слов которых значилось, что солдаты, обозлившиеся однажды ночью на масляного сверхсрочника, запихали той ночью в большой мешок и сбросили в речку. Спасся, по дружным предположениям рассказчиков, Дятлов чудом, однако психического здоровья лишился напрочь… Дятлова долго лечили, но вынуждены были все же комиссовать, и вскоре несчастный сверхсрочник предстал в странной своей красе на пороге деревенского дома. В нем он стал жить вместе с матерью, потому что отца не помнил, а сестру, городскую жительницу, не видел лет, наверное, десять. Он жил тихо, нередко совершал здравые, даже полезные поступки. Говорили, что он и никто другой смастерил понадобившийся хозяйству табурет и полки для кухни. В совхозе Дятлов не работал, инвалидное пособие пока не получал, рассчитывая в основном на доярскую зарплату матери… Конечно, мать переживала. Она жалела не совсем здорового сынулю и боялась будущего. Мать не зря волновалась. Раз летом, когда она собралась идти на ферму, ее не совсем внимательному взору предстала полуодетая фигура сына с корявой оглобелькой в руках. Ее, как выяснилось через минуту, он счел подходящей для рыбалки удочкой, гвоздь на веревке — крючком и наживкой одновременно, а колодец — микромоделью близлежащего промыслового озера. Сын рявкнул голосом сверхсрочника: «Не мешай, не видишь — клюет!». Мать выронила бидон с молоком, вскрикнула, всхлипнула… Вечером на пути с фермы она обнаружила сынулю на прежнем месте с той самой оглобелькой в руках. Утром снова, вечером опять. Вскоре, однако, сын придумал для себя новое времяпрепровождение. В библиотеке вместо не оказавшейся подшивки газеты «Красная звезда» Дятлов обзавелся мемуарами маршала Конева и на время естественнейшим образом затих. После Конева последовали Черняховский, Рокоссовский, Октябрьский, наконец в библиотеке возникла ежегодная книжная новинка с маршалом Жуковым на глянцевой обложке, и Дятлов встретил осеннее ненастье за прочтением очередных военных мемуаров. Зиму он читал, весну читал тоже. Летом же, обремененный новыми специальными знаниями, принялся рыть посреди материнского огорода окоп и прицеливаться в родное существо из наспех отесанной палки.

В войну сын играл все лето. Только на его исходе, не обнаружив в канистре бензина, зато узрев чадо, замачивающее в нем капроновый длинный шнур, мать решила принять меры. На следующий день к их некрашеному домику пожаловала санитарная машина, и очень скоро матери зажилось гораздо спокойнее.

В психиатрической больнице Дятлов провел год, в течение которого был не раз с едой навещаем, на исходе которого почувствовал себя нормально и… Лето на деревенской воле выдалось теплым и погожим. С раннего утра солнце сразу же начинало припекать и успокоилось только к вечеру, достигнув синеватого далекого леска. Загорать Дятлов любил. Он выходил из дома в одних лишь трусах и тотчас садился на шершавую скамейку. Прохожим вместо слов приветствия он говорил: «Загораю вот. Отдыхаю сегодня». Разжарев, он нагишом купался и нет-нет нырял не далеко от дачно-дамской лодки. Вынырнув, он говорил снова: «Я сегодня отдыхаю»… Чтения тем летом Дятлов не прекращал. Ежемесячник «Подвиг» нравился ему меньше воспоминаний военачальников, но за неимением последних приходилось довольствоваться им. Осилив очередной номер, Дятлов спешил поделиться впечатлением с полковником-дачником. Дятлов, как правило, приветствовал того деловой отмашкой и с вызовом спрашивал: «Читал девятый “Подвиг”?». «Нет, не читал. Зато мемуары Жукова прочел недавно с удовольствием», — отвечал Дятлову полковник. «Ну, Жуков — дело прошлое. А новенького, Вы не слыхали — не появилось?» «Нет», — сухо отвечал полковник и широким шагом направлялся в лес за черникой. Раздраженный столь непродолжительной беседой, Дятлов отыскивал же у полковника худенькую скуластую женщину говорил ей: «Что ни говори, а ефрейтор воздушно-десантных войск побольше твоего полковника будет». В ответ женщина напускала на себя строгость и очень медленно произносила: «Попрошу мне не тыкать». Сбитый с толку окончательно, Дятлов разворачивался и шел восвояси. Двигался он необычно. Странно прямой была его спина, медленны ноги. Кто б мог подумать, что они понесут его так споро на следующий после несостоявшейся беседы день… Дятлов бежал за родной матерью с прошлогодней оглобелькой в руке и матом на устах. Он бежал по пыльной дорожке, вспугивая бабочек, и сыпал в адрес матери трудноразличимые обвинения. Из сумбура и матерщины следовало, что та гуляла на какой-то сенокосной стороне с бывшим бригадиром Кузнецовым, а до этого очень давно занималась подобным с тем же Кузнецовым, да и вообще. Мать бежала к дому младшей сестры. Она не успела чуть-чуть. На горушке, от которой до убежища оставалось рукой подать, ее нагнал сын и наотмашь ударил по спине оглобелькой. Мать екнула, присела на колени и обеими руками ухватилась за поясницу. Почему-то месть на этом Дятлов посчитал законченной, поскольку дальнейших хулиганских действий с его стороны не последовало. Несмотря на оглобельку, столкновение в целом закончилось благополучно. Мать психопата через пять минут окончательно пришла в себя, а на следующий день как ни в чем не бывало посетила отдаленный покос бригады Кузнецова. Но отклик происшествие все-таки имело, тракторист Никитин повертел в руках остатки оглобли и молвил: «Я-то думал, это кол был, а это…».

Лето заканчивалось. Стало незаметно темнеть и очень быстро холодать, и Дятлов снова заволновался. Однажды вечером, не обнаружив матери дома, он схватил в руки топор и бросился за порог. С холодным оружием он посетил тетку — сестру матери, бригадира Кузнецова и растревожил к началу программы «Время» почти всех односельчан. Маму в тот вечер Дятлову найти не удалось, зато тракториста Никитина посчастливилось. Механизатор выловил психа возле своего дома и очень быстро обезоружил. Санитарная машина приехала утром. Санитарам Дятлов не сопротивлялся, а только с грустью смотрел на солнечный рассвет и колодец с рыбой. Местные по поводу последних бурных событий говорили, что односельчанин хитрит, что садится в психушку в тот момент, когда истекает срок денежного пособия и надо в очередной раз показывать медперсоналу, что ты идиот. Еще местные ругали его мать и жену бригадира Кузнецова.

Следующим летом Дятлов в деревне не появлялся. Мать навестила его сестра — совершенно здоровый человек с высшим педагогическим образованием. Она пожаловала на отдых с годовалой дочкой и, естественно, все свободное время посвящала дитю, которое вело себя также почти неспокойно, как брат, и, случалось, проглатывала незаметно поднятый с земли камушек или карабкалась по колодезным бревнышкам все выше и выше. Местные вспоминали Дятлова нечасто. Обычно они начинали шептаться после того, как мимо с бесцветным рюкзачком за плечами проплывала его мать. Местные гадали тогда о содержимом рюкзачка, припоминали характер ее вчерашних продовольственных приобретений и ругали за то, что везет она сынку сплошь дешевые рыбные консервы, а надо бы «мясца да сметанки». Мать навещала сына и весь следующий год.

Она, как раньше, набрасывала на плечи рюкзачок и направлялась к автобусной остановке. Из города, до которого ее довозил автобус, она ехала еще часа два, прежде чем увидеть притихшего трудноузнаваемого сына. В один из таких визитов врач сказал ей, что решил на лето отпустить Дятлова домой, что полностью в плане тишины и спокойствия за него ручается и гарантирует безопасность всем-всем-всем. Мать и не требовалось убеждать — облик когда-то неугомонного сынули говорил сам за себя.

Летом Дятлов почти не появлялся на улице, а в основном сидел за кухонным столом и перебирал молчащие фотографии и открытки. Но однажды, словно припомнив прошлые загары-загадки, он добрался до лавки, недолго на ней посидел, и угрюмо осмотрев озерный пейзажик, вернулся в дом. За лето его видели еще несколько раз. Был даже случай, когда для многих неожиданно он появился в местном магазине, дабы купить в нем запомнившиеся рыбные консервы и чего-то еще. На обратном пути с ним безуспешно поздоровался полковник-дачник и младшая сестра матери. Осенью за Дятловым приехала снова страшная решетчатая машина, и больше его никто никогда не видел.

**Дед Семен и пенсия**

Последние несколько лет деду Семену завидовали почти все односельчане. Было чему. Чему? Деньгам. Например, весь последний перед смертью год дед Семен получал пенсию, размер которой в два с лишним раза превышал заработную плату целой тракторной бригады гибнущего местного совхоза. Пенсию дед заслужил — спора нет. Война с белофиннами, следом Великая Отечественная. Первую почему-то дед вспоминал чаще. Злые деревенские языки поговаривали, что с фашистами Семен толком не воевал, что всю ее провел в тыловском связистском обозе. Зато с белофиннами — нет. На ней все происходило иначе: на лыжах бегал, стрелял, мерз… «М-да, это была война, — вспоминал дед и закуривал, — снег, ветер в лицо, ничего кругом не видать, того гляди, пальнет невидимый финн…»

Трудно сказать, как складывалась служба у Семена во время Второй мировой… Вернулся он в деревню с тяжелым ранением ноги и вскоре женился на крупной тридцатилетней женщине, родившей ему с небольшим интервалом троих детей. Дети росли, как ковыль в поле, и, достигнув совершеннолетия, покидали родительский дом. Сыновья потом вернулись обратно. Средний снова поселился в доме родителей, а старший, женившись, отстроил рядом собственный дом. Третьей была дочь — вылитая мать. Такая же большая, кудрявая. Дочь с Севера не вернулась. В Мурманске она продолжала трудиться на мебельной фабрике, растила дочь и любила мужа. В деревню она приезжала почти каждое лето помогать по хозяйству. Семен тогда еще работал в совхозе. Умел он многое. Семен рыбачил на лесных озерах, точил пилы, валял валенки, врезал дверные замки. Когда умерла жена, ему исполнилось восемьдесят. Он трудно переживал утрату, винил себя за прошлую грубость. Говорили, что он поколачивал ее и на старости, незадолго до смерти. За тяжкие эти грехи Семена потом долго и зло ругали престарелые подружки покойной, однако нет-нет просили помочь. Кольцовым, например, дед поправил дверную раму, навесил самодельный крюк и приколотил рядом непонятного назначения кусочек тусклой жести. Следом он свалял валенки Лиде, развел и заточил пилу старушке Остроумовой. Примерно тогда же дед Семен узнал о новых льготах участникам Великой Отечественной войны и законно пожелал «Запорожца» с ручным управлением. На машине дед ездить не собирался, вернее хотел, но не в качестве водителя. Место рулевого предназначалось старшему сыну-трактористу. Машина полностью доверялась ему, однако по первой просьбе истинного хозяина должна была завестись и мчаться с ветерком. Так приблизительно мечтал Семен, и снова и снова ездил в областной Осташков узнавать перспективы. Радужными их было не назвать, но в то же время машинами медленно и нервно обзаводились другие фронтовики, а остальные очередники исправно получали компенсацию за бензин. В ней деду, разумеется, не отказывали, но за деньгами приходилось ездить в город. Дед вставал тогда пораньше и, вооружившись длинным посохом, шел к автобусной остановке…

Однажды в Осташкове деду предложили альтернативу: вместо «Запорожца» — пятьсот рублей плюс, как раньше, деньги за горючее. Семен ответил работнику собеса, что подумает, но по прошествии минуты-другой сказал: «Нет, я мотор выбираю». «Тогда ждите», — сухо ответил чиновник.

Наступившим летом Семен помогал среднему сыну заготавливать сено. Он стоял на макушке золотистого одонка и принимал охапки, которые с земли подавал сын. Дед работал медленно и осторожно, падать с одонка он не собирался, тем более цепляться в момент полета за подвернувшися некстати грабли… Сушили сено без него. Факт своего отсутствия дед переживал сидя на теплой лавочке. Иногда, не выдержав скорбного молчания, он делился с прохожими деталями происшествия, выставляя в качестве вещественного доказательства перебинтованное колено и сбившуюся повязку на руке. Дед зачастил в то лето к жившему по соседству полковнику. Достигнув его домика, он стучал палкой по оконным наличникам и громко звал: «Хозяин! Выходи, покурим!». Когда полковник появлялся, Семен уже сидел на скамеечке и вытаскивал из пестрой фланелевой рубашки «Любительские». «Вот ведь, Юрушка-сынок», — начинал дед беседу, речь в которой шла о разных, совершенно не связанных друг с другом вещах. Дед вспоминал барина, линей, которых тот разводил. После этого показывал ориентировочные размеры живущих в местном озере лещей, но неожиданно прерывался, закуривал и начинал о другом. «Великая вещь — резиновые сапоги. Их не сотрешь и не порвешь так просто. Кожаные хуже, с ними хлопот не оберешься. Как раньше говаривали, когда резиновые сапоги только появились: “Спасибо Сталину-грузину. Всю страну одел в резину”». После дед замолкал и, откашлявшись, заканчивал: «Так-то, Юрушка, родный».

Как-то раз полковник Юрушка помог Семену в довольно деликатном деле. Он составил письмо Председателю Президиума Верховного Совета с просьбой устранить автомобильные проволочки и наладить в избе инвалида телефонную связь. Председатель на просьбу ветерана откликнулся, однако удовлетворить целиком не пожелал, предоставив деду только телефонную связь. Дед обрадовался телефону так, как, наверное, обрадовался бы машине. Но к зиме радость от редкого в округе приобретения несколько притупилась, в то время как мысль о «Запорожце», напротив — усилилась. Дед Семен снова навестил собес и узнал, что вышло новое распоряжение, раз и навсегда прекращающее автомобильную льготу. Дед расстроился, но вскоре получил повышенную инвалидно-военную пенсию и заметно повеселел. Очередным летом на сене он не работал. Беспокоило зрение, ноги. На подмогу приехала из Мурманска дочь и успешно восполнила вынужденную потерю… Она жила и все следующее лето. Она даже осталась до октября и вместе с братом принялась за критику родственника. Хором они сомневались в слепоте его глаза и недееспособности ноги. Признаться, сомневались многие. Нашелся один сельчанин, который отчетливо слышал, как дед, увидев в полукилометровой примерно дали детей полковника, тотчас назвал их по имени в порядке слева направо… Вскоре Семен засобирался к родственникам в Новогородскую, хотя жил в Тверской. Идти предстояло километров двадцать, не меньше. Семен прошагал их все без остатка и, погостив недельку, благополучно вернулся. После путешествия в покое деда уж тем более не оставили. Сельчане окончательно уверились в крепости его здоровья, безопасности прошлой военной службы и много в чем еще. Через год злобы на Семена у сельчан резко прибавилось. Наступили смутные времена. Совхоз странно акционировался, в соседней деревне возник загадочный фермер, а появившаяся в магазине водка стала стоить приблизительно столько же, сколько несостоявшийся Семенов «Запорожец». Внутри этого нового мира и появилась новая пенсия деда. Пенсия по местным меркам была громадной и находила карман ветерана с месячной регулярностью. Деньгами распоряжался средний сын, который жил с дедом. Дед Семен продолжал курить, выпивать и есть на завтрак, обед и ужин консервированную свинину. Однажды он совершил еще один поход в Новогородские земли предков. В этот раз деда в основном везли, и обратно он вернулся на следующий день. Вечером Семен, как обычно, раскурил папироску, минут пятнадцать поплевал под ноги и только после этого отправился спать. Утром дед Семен умер. Поминки получились шумные и пьяные. Вскоре после похорон деревенская баба Тося раздобыла справку, утверждающую, что ее обладательница с детских лет трудилась в тылу, как на фронте, и будет получать теперь особую прибавку к пенсии. Спустя неделю Тося ее без проволочек получила, и в душах односельчан вновь поселилась беспокойная зависть. Завидовать Тосе стали почти все. Было чему. Чему? Деньгам, пенсии.

**О пенсиях поподробнее**

Пенсия почившего несколько лет назад деда Семена — эталон, недостижимая вершина материального благополучия. Об этом я уже рассказывал и заканчивал повествование приблизительно так: «…Ветеран Финской, Великой Отечественной, сержант запаса — дед Семен умер вместе с огромной пенсией, и зависть местного населения перекинулась на деревенскую бабу Тосю Капитонову». Завидовать Тосе стали страстно, шумно, как прежде ветерану-деду. Возникала своего рода преемственность порока. Ну, что значит порок? Порок — зависть местных своему ближнему, достигшему, в отличие от них, счастливого пенсионного рубежа. Так? Так. Но с другой стороны, позавидовать есть чему. Есть — правда. Почти никто в распавшемся и толком не акционировавшемся совхозе денег не получает. Даже тот, кто трудится. Например, тракторист Никитин или Осипов, или бригадирша Клавка. То, что в конце концов выплачивает работникам совхоз, назвать зарплатой неловко. Деньги тратяться только на товары первой необходимости: хлеб, крупу, соль… Трудная в деревне жизнь, что и говорить. Но о сельчанах пенсионного возраста этого не скажешь. Взять хотя бы нашего буяна соседа Евгения Ивановича. Как осмелел, как плечи расправил мужик, когда первую пенсию получил. Но это видеть надо. А разговор не обязательно, его с ущербом, конечно, с определенными издержками воспроизвести можно. Произошел он в магазине, в послеобеденный час и был мною хорошо слышим. Сразу же, впрочем, сделаем небольшую ремарку. Продавщицу (на пенсии, кстати, даму) страннозвучащую Эфриду Алексеевну от полноты нагрянувшего пенсионного счастья Евгений Иванович во время всего разговора называл не иначе как «товарищ майор». Причем здесь майор, причем здесь вообще военные? Трудно сказать. Надо, наверное, пенсию в Тверской деревне получить, и тогда… Ну, мы отвлеклись. Евгений Иванович у прилавка готовился серьезно отовариться. Е.И.: «Так, …товарищ майор…». Э.А.: «Слушаю». Е.И.: «Так-так, товарищ майор…». Э.А.: «Слушаю, слушаю». Е.И.: «Хлеба — три, батона — три и… товарищ майор…». Э.А.: «Что еще?». Е.И.: «Банку брусничного джема». Продавщица со стуком опускает рядом с батонами пол-литровую банку. «И-и-и», — снова тянет Евгений Иванович, осматривая прилавки. «Слушаю», — спокойно обращается продавщица к новоиспеченному пенсионеру. «И-и-и бутылку водки, товарищ майор». Продавщица ставит рядом с баночкой бутылку и спрашивает прежним тоном: «Что еще?». «Еще вот этот рассольник, килограмм пряников, полкило карамели, две бутылки лимонада, как его… товарищ майор…» «Серино», — картаво произносит продавщица. «Во-во, товарищ майор. Еще печенья килограммчик, и еще сухарей килограммчик, товарищ майор». Кончается все тем, что за грудой провианта товарищу майору Эфриде Алексеевне Евгений Иванович почти невидим. Деньги он протягивает ей откуда-то сбоку, в метре приблизительно от того места, где принято производить подобную процедуру…

Отоварился Евгений Иванович с первой пенсии на славу, и правильно сделал. Только к матери потом совершенно напрасно пристал… Пошла, в общем, регулярная Евгению Ивановичу пенсия, и рыба в сети тоже, и грибы-ягоды в лесу, и картошка в огороде тоже. Наступила у соседа нашего Евгения Ивановича благодать или что-то в этом роде… Кому еще хорошо? Тосе Капитоновой. Ей чуть ли не весь месяц хорошо. Буквально с утра до вечера. Она, к слову пришлось, сейчас первенство среди всех деревенских пенсий держит… Достала потому что справочку уведомляющую, что все военное лихолетье работала в тылу, невзирая на нежный возраст, а посему приравнена к какой-то особой льготной категории лиц, ну и… Мне кажется, что Тосе завидуют даже сильнее, чем деду Семену. Что дед (к живому на минутку вернемся) — он ведь не один, в конце концов. У деда сын безработный — раз, корова — два, свинья — три, курицы — четыре, ну и по мелочам. А у Тоси никого и ничего. Курицы разве что. Но это так, чтобы уж совсем скучно не было…

Конечно, кроме Евгения Ивановича, пенсионерки и продавщицы Эфриды Алексеевны, Тони Капитоновой — счастливчиков в деревне хватает. На подходе вот еще несколько. Например, тракторист Никитин — наш ближайший сосед и давний папин товарищ. Вот-вот исполнится Никитину 60 лет. Чуть ли не в этом месяце. Может завтра получит тракторист пенсию или сегодня, сейчас. Никитин, может статься, уже радостно встречает грузную почтальоншу у калитки. Вообще-то улыбка лицо тракториста Никитина озаряет часто. Но совсем иначе улыбается он, когда мечтает о предстоящей пенсии. Множество подтекстов и душевных нюансов хранит эта особая улыбочка тракториста. Ну и фраза с ней заодно: «Ох, скоро Юрка, скоро и я заживу!» (Юрка — это мой отец, понятно). А если трактор у Никитина сразу не отнимут, не уволят тотчас после юбилея с работы, то лето грядущее тракторист проведет замечательно. Грядущее с трактором и пенсией лето Никитин проведет бесподобно. И пошабашит, и… пенсию получит.

Не слышал, как выражал чувства по поводу предстоящего судьбоносного юбилея тракторист Осипов. Видимо, говорил что-нибудь среди своих. К нам-то он не часто заходит. А если вдруг навестит, то разговор заводит какой-то чудной, странный. Например, про черного, в колдовских целях умерщвленного кота в далеком детстве. Осипов с Никитиным ровесники. Может Осипов Никитина и постарше там на месяц-другой. Возможно поэтому Осипов пенсию уже получил. Свершилось, так сказать… Осипов тоже на тракторе трудится…

Но всех, как мне кажется, сильнее ждет пенсии Васька Пилюк. Еще бы, он не тракторист, в совхозе, вернее в его останках, не работает, корову, свинью не держит. Денег ему взять просто неоткуда. Приходится Ваське ловить и продавать рыбу, картошку, сено… Мыть в своей баньке за соответствующую плату дачников. Крутится мужик изо всех сил, пенсионного часа ожидая. Еще вспомнил: за деньги Васька и грибы с ягодами продавал. Как-то и нам сыроежек первых предлагал, но мы отказались. Вскоре — еще вспомнил — у Пилюка сеть сняли, сперли то есть, на озере прямо. С горя Васька запил и с пьяных, не иначе, глаз меня в пропаже заподозрил. «Видели голубую лодку с парнем в такой, как у тебя, куртке», — сказал Васька. Но мы (рядом со мной стоял отец) ответили Ваське «нет», и Васька ретировался… Так и не удалось отыскать Ваське сеть. Как он ни старался, как нас — меня вернее — ни подозревал, ничего не помогло. Сеть пропала бесследно. Исчез с ней вместе и промысел. Я только одного не знаю, когда достигнет Васька заветного рубежа. С трактористами ясно. Отец мне недавно за завтраком об их возрасте все точно сказал и даже загнул для пущей убедительности несколько пальцев, подсчитывая количество счастливцев. А про Ваську за завтраком не было. Если бы было — я запомнил…

Ну, вот и разволновался. Я уже про себя. Разгорячился, зарумянился, и мысль в голову залезла: «А ты-то деревенским пенсионерам не завидуешь?». «Нет». Нет — честное слово. Я просто некоторое время (пока писал, освещая по мере сил проблему) в их деревенских «шкурах» как бы побывал и прочувствовал посему вышеописанные обстоятельства. Вот и зависть — она плохая, выходит у местных — вещь объяснимая. Не будем деревенских за нее осуждать. Будем жить и трудиться… до пенсии.

**Племяш**

Интересно, что думает о деревне мой племянник Леша? Ведь думает же что-нибудь, ведь не первый раз там отдыхает, и вообще. Вообще, все в детстве иначе и в деревне, и в городе, и… где хочешь. Интересно, между прочим, и маме моей стало. Мама, например, на днях так примерно сказала: «Леше в деревне благодать, он другим человеком оттуда возвращается». Когда так говорит мама (забудем на время о племяннике), то имеет в виду прежде всего цвет лица. После того, как я, скажем, возвращаюсь из деревни и на миг оказываюсь в мамином поле зрения, то слышу тотчас: «Ты посмотри, какой ты из деревни вернулся. Тебя же не узнать. Ты же другого цвета». Цвет, разумеется, мамой имеется в виду хороший, здоровый, не то что прежний. Прежний был другой. О нем мама говорит иначе: «Глянь, на кого ты похож. Ты как полотно белый, в гроб краше кладут». Ну, это так, к слову. Впрочем, говоря о чудесных изменениях в облике племянника, мама подразумевает и цвет его лица. Но у племянника это качество стоит все-таки на втором месте. Первое, не задумываясь, мама отдает оздоровлению Лешкиной души. «Он добреет… добреет в деревне», — говорит мама. Может, мама и права. Но я, признаться, подобных метаморфоз в поведении племянника не замечал. Сейчас, конечно, может быть все именно так и происходит, вернее, происходит другое — я естественное взросление имею в виду. Одиннадцать лет пацану — не шутка. В одиннадцать лет смело влюбляться можно. А если не влюбляться, то хотя бы вредничать поменьше. Сейчас племяш ведет себя лучше. За это я ему благодарен. А то ведь как прежде наши отношения складывались. Как будто ничего, неплохо, однако… Например, купаю я племянника в озере: стою, значит, по щиколотку в воде и внимательно за происходящим наблюдаю. Тем временем срок на процедуру отпущенный истекает, и я зову племянника ласково: «Лешка, пора!». «Чего?» — отзывается племяш. «Хватит, простудишься!» «Нет», — обрывает меня Лешка и опускает зачем-то руку в воду. «Ты чего?» — настороженно спрашиваю я. «А ничего», — отвечает племянник и прицеливается в меня ракушкой. «Не смей!» — кричу я, но уже поздно. Попадает целенькая, тяжеленькая, остренькая раковина мне прямо в колено. Или палку вдруг племянник схватит и махать ей, как шашкой, начнет. Того гляди по голове треснет. И дома скандалы. Лук (считайте, скандалом запахло) племянник ни в каких сочетаниях не ест, и чеснок, и любую зелень тоже. Вот и готовит мама племяннику персональные блюда. А какой племянник грязнуля? С какой мукой моя мама моет ему ноги…

Был, кстати сказать, еще один эпизод, с гигиеной не связанный. Научился племянник у соседского Женьки бранным частушкам. Научился и на всю округу запел. Целый месяц моя мама с ним воевала, искореняла, так сказать, зло. Но на счастье, пожаловали на отдых в дом по соседству две девчонки — двоюродные сестры. Взяли они племянника «в оборот» и расстался он с Женькой и его частушками, не моргнув глазом. Возник даже своеобразный любовный треугольник: Лешка и двоюродные сестры. Дружил, короче говоря, племянник с разными сестрами по очереди, устал в конце концов от житейских трудностей и обеим надавал тумаков. Тут как тут к свободному племяннику подоспел соседский Женька, и снова полилась рекой по деревне непотребщина.

Нет, кое-кому влиять на племянника удавалось. Его родителям, например. Отцу, скажем. Когда тот приезжал в деревню на отдых, Лешка становился «как шелковый». Не узнать становилось — точно. Моя мама, тем не менее, продолжала волноваться. Мама считала, что зять с внуком слишком строг, что по пустякам распускает руки, в результате чего «затравил мальчишку совсем». Сложная тогда возникала ситуация. Запутанная чрезвычайно. Но тут очень кстати заканчивался август и с ним летний отдых. Однако через год снова наступало лето, и племянник вместе с моими родителями отправлялся в деревню, где все происходило как год-два-три назад… Племянник со всеми по очереди дрался, пел песни, ел особую пищу, не мылся, а однажды (я это племяннику еще припомню) взял и врезал своей ножищей по сумке с продуктами, которую я нес. Я племяннику тогда не купил какую-то игрушку — вот он и взбунтовался. Продукты, гад, ударом повредил, яйца чуть ли не весь десяток разбабахал. А все из-за машинки дурацкой, пластмассовой. Вообще, странные все эти годы был у племянника досуг. Сами посудите: рыбу он не ловит, в лес за грибами-ягодами не ходит, книг не читает. Зато телек смотрит, а если не смотрит — где-то рядом с водой болтается, отчего возвращается домой грязный с ног до головы и такой вот гадкий требует от бабушки «много котлет без лука и сладкий-пресладкий чай». Потом чего-то у кого-то меняет, спохватившись, пробует вещь вернуть, дерется, когда не получается. Спички норовит найти и сжечь их у бабушки на виду. Поросенок! Черт! (это я о племяннике). А три года назад поймал племяш соседского котенка и разукрасил его в разные цвета. Бегал после этого котенок по деревне и «людей добрых» (так моя мама всех людей сразу иногда называет) пугал. Ветрянкой болел, простудой болел, стоматитом болел, руки, ноги ранил, на солнце сгорал, синяки на всех частях тела ставил… Был момент, стал как-будто потише — на одной из сестер мысли и чувства сосредоточил. Мне даже как-то признался: «Мне нравится Настя». «Ну, это Леша неплохо», — поспешил откликнуться на откровения племянника я. Но, видно, поспешил, потому что вскоре между детьми произошла ссора. Потом в деревню приехал его отец, и все снова встало на свои места. И тут (не сглазить бы) наступил в поведении моего неспокойного родственника коренной перелом (по-военному выразился, ну да ладно). Повзрослел племянник как-то удивительно резко. Нога стала, как у бабушки, ладонь, как у меня, а голова, а плечи… Изменился племяш и над жизнью задумался. Драться перестал. Напротив, стал со всеми ладить, в глаза заглядывать, беседовать. Беседовать, беседовать. Рот у племянника все лето не закрывался. Как его ни увидишь — все вещает что-то. То про черепашек, то про Сталлоне, то про какой-то «Сгусток». К девчонкам стал лучше относиться. И удочку сам выстругал, и книжки в библиотеке взял. Ах да, еще плавать научился и… любознательным стал. Недавно, уже в городе, пуговицу старинную у меня в столе нашел и «чья?» — спрашивает. А я, признаться, не знаю. Старинная пуговица, не русская. Я отвечаю племяннику: «Не знаю, Леша». «Интересная пуговица», — говорит тогда племянник и скребет ногтем по чужестранной короне. «Очень», — откликаюсь я и тоже царапаю пуговицу. «Ее потерял… гонец», — вдруг очень серьезно произносит племяш, и гонец — посланник из прошлого или позапрошлого века — возникает в моем воображении. А когда с исследованием пуговицы было покончено, племянник сочинил письмо той самой девчонке — одной из двоюродных сестер — и попросил меня напечатать его на пишущей машинке…

А что сейчас, интересно, думает о деревне мой племянник? Не абстрактно, конечно, а детально и вдумчиво.

**Тракторист Никитин**

До чего же сильное впечатление произвел на маму тракторист Никитин. Настолько сильное, что новая дорожная встреча взволновала ее гораздо меньше. Но о ней мама все-таки вспомнила, и я ее услышал: «…смотрю, стоит в вагоне мужчина лет сорока пяти и улыбается. Не мне — нет, а вообще. Стоит с портфелем в руках и улыбается. Тут, между тем, моя станция метро — нужна, значит, мне помощь и я к нему, улыбчивому этому мужчине, очень любезно обращаюсь: “Доброе утро. Можно попросить Вас помочь мне поднять на ступеньки мою тележку? Дальше я ее до эскалатора сама довезу”. А мужчина снова улыбается и отвечает: “Конечно, пожалуйста” и вместе со мной выходит из вагона… Не знаю, почему, на эскалаторе я к нему опять обратилась: “Извините, мужчина, пожалуйста, меня за любопытство, но, судя по всему, Вы гуляли ночью, а сейчас идете на работу?”. И снова помощник мой улыбается и, ничуть не смутившись, отвечает: “Вы совершенно правы, женщина. Я гулял всю ночь, а сейчас спешу на работу”. Когда мы из вестибюля метро вышли, он снова мне всеми своими коронками улыбнулся, в трамвай усадил и очень вежливо попрощался. Помог, в общем, здорово. Спасибо ему за это».

Такая вот приятная история, вернее встреча, с мамой произошла. Нет слов — мужчина молодец. Хорошо, что он улыбчивым и вместе с тем галантным оказался. Гораздо хуже, если он был бы пьян и по-хамски себя вел… Итак, пришел черед тракториста Никитина, вспомнить и сцену с ним, которая маме так глубоко в душу запала и сердце растревожила…

Все лето, на исходе которого и случилось описываемое происшествие, тракторист пил регулярно и много. Везде горячительное Никитину перепадало. Ну буквально всюду. Сделает Никитин что-нибудь, дрова, скажем, сельчанину вывезет из леса или просто сосенку необструганную: расплата — выпивка то есть — тут же на глазах прямо тракториста скоренько возникает и закуска, между прочим, тоже. Никитин всегда так комментировал факт данного чуда: «Я шаг только на тракторе сделаю — мне уже наливать надо». И наливали. Остроумова — наливала. Капитонова — наливала. А папа? Сколько раз он наливал трактористу спиртное, со счета можно сбиться. Случалось, правда, и наоборот все — Никитин папе наливал… Бражку, к примеру. Брага (бидон с ней у нас хранился) еще только бродить начинала, а Никитин тут как тут, заходит к нам и «давай Юрка, тяпнем!» — говорит папе, и «давай и ты с нами», — мне говорит… Ну, брага — брагой. Брага — ерунда по сравнению с самогоном или спиртом «Рояль». Пил Никитин в основном последний… Последнее перед происшествием время (пора к нему вернуться) тракторист Никитин нередко проводил у старой своей знакомой — восьмидесятилетней старушки Пантелеевны. Что связывало с ней тракториста, кроме самогона, не знала даже законная супруга Никитина Рита. Не только она, но и остальные сельчане определенно сказать, зачем тракторист Никитин так часто посещает Пантелеевну, не могли. Когда его спрашивали об этом, Никитин принимался хохотать или очень громко ругаться. Кому как: кто плечами пожмет, кто осудит, кто посплетничает наконец, а кто-то (моя мама, например) совсем о другом задумается. Правда, честное слово, взаимоотношения полов мама в беседах о трактористе Никитине не касалась. Маму живо интересовало другое: как «в стельку» пьяный Никитин может вести трактор, почему он с ним вместе не перевернется, отчего трактором никого не задавит? Окаянные прямо были вопросы, сложно немыслимые. Ну как, действительно, удавалось трактористу Никитину в кромешной тьме преодолевать без ущерба для себя, трактора и окружающих сверх всякой меры пересеченную местность? Чтобы ответить на эти вопросы не наверное, а точно — надо быть трактористом Никитиным. То есть также в момент рискованного пути видеть и чувствовать. Но поскольку сделать этого нельзя — остается только удивляться и мучиться неразрешимыми загадками… Однако мы отвлеклись. Речь ведь с самого начала шла о грустной и тревожной сцене. С чего она начиналась, что осталось за кадром? Это, между прочим, по сути дела те же неразрешимые вопросы. Начать, впрочем, можно и так: «В избушке рядом с озером, у давней своей знакомой старушки Пантелеевны, тракторист Никитин выпил самогона, захмелел и с началом августовских сумерек засобирался домой». Так-то. Вполне, я думаю, достаточно, чтобы картина обрела некоторую ясность. А дальше? А дальше начинаются окаянные вопросы: как? ну как? разве это возможно? в таком состоянии в темь по ухабам? Одному богу это ведомо. К богу, значит, все вопросы. Но только часам к десяти Никитин добирался до дома, глушил мотор и тут же, словно замолчавший мотор лишал его остатков сил, вываливался из кабины наружу. Падение это длилось всегда необычайно плавно и очень напоминало телодвижения киношного Абдуллы в миг смертельного ранения, вернее, уже после, когда басмачу пришел черед падать, и делать это следовало как можно дольше и красивее. Вываливался в конце концов на черную, всю в бензиновых пятнах землю тракторист Никитин и замирал в пьяном сне до неизвестного часа…

Тут снова, ведь главное, тревожное что ли, еще не произошло: тракторист только упал, только заснул, пришло время предоставить слово маме. Мизансцену запомнить несложно. Мизансцена очень проста: августовские сумерки, большой, лицом развернутый к озеру дом. Трактор, естественно, голубого цвета «Беларусь». Еще распластавшийся на земле Никитин и гусь Федя с ним рядом. Мама, прошу! Мама: «Это ужасно. Лежит на земле тракторист Никитин: руками растрепанную голову обхватил, рубаха в штаны не заправлена. Ужасно! Страшно! Валяется бледный — в лице ни кровинки, рана на руке. Кровь из нее на землю льется и ручьем к щеке течет. И тут же рядом с Никитиным гусь его Федя. Гусю что? Гусь то в шею хозяина клюнет, то в голову, того гляди, до глаз доберется… Ужас, страх! Я тогда отца с Колькой позвала — так они Никитина подняли и в дом отволокли. Не занесли бы, лежал бы он там и лежал. Рите что? Рите ничего. Рита так и сказала: “Знать его не знаю!”».

Такой эпизод. Из жизни деревенской как раз. Вроде и обычный, рядовой, так сказать, но это как посмотреть. Взглянуть, например, на него мамиными глазами — драматический эпизод до мурашек. «Хорошего в нем мало», — ее же словами смело можно его охарактеризовать и не пить после этого ни в коем случае.

**Фермер**

Кто только о фермерстве и фермерах не говорит… Действительно, фермеров сейчас много. Какой бы заброшенной, нечерноземной деревня ни была, а все равно хоть один фермер в ней обязательно отыщется. Вот и у нас есть. Странный тип. Загадочный, с точки зрения первоначальных для фермерской деятельности капиталов, а также некоторых других действий и поступков, потому что производить (как мне показалось) фермер ничего не производит, а покупать (ветряки, например, или многочисленные стройматериалы) покупает. Впрочем, кое о чем догадаться можно. Есть, например, совершенно точная информация, что до фермерства данный гражданин был капитаном дальнего плавания в Черноморском пароходстве. Но вместе с тем существуют и другие умозаключения (правда, в виде слухов), что делал он это не очень честно. Что же особенного, слышать приходилось не раз, какие деньжищи имели некоторые капитаны (да и не только они) даже на мелкой контрабанде. Мог, короче говоря, капитан лукавый сколотить деньжат и во время тотального распада и копеечных цен на собственность вложить их в сельское хозяйство.

Хорошо. Вложил бывший капитан деньги в это самое рискованное земледелие: построил фермочку, дом, еще что-то по мелочи. Правильно все. Но коров (фермочка ведь пустовать не должна) кормить-поить надо, и работников тоже. А стройматериалы (домик-то будь здоров вышел) — они же, наверное, не даром достались? Не наверное, а точно — приобрел фермер опять же в срок, вскоре после отставки что-то вроде небольшого предприятия столярного профиля и ветряные генераторы, поскольку электричества в деревне, где он обосновался, так и не появилось. И еще… местные говорят и о том, что есть, мол, у фермера в Прибалтике и «правильная», доходная ферма. Ничего, в общем, особенного. Но с другой стороны — с точки зрения фермерства на два фронта — сложности у нового крестьянина должны возникнуть. Мне неизвестно, как там у фермера в Прибалтике дела обстоят… Может, и не очень хорошо. Зато у нас в Нечерноземье все в порядке: ветряки кружатся, свет горит, коровы мычат, работники трудятся. И сохраняет фермер после подобной идиллии тайну благосостояния уж тем более… Ну, хватит об этом. Достаточно, по-моему, тайн. Посмотрим лучше на фермера. Интересно ведь? Хотя мне не очень, ничем мне фермер не приглянулся. Но уже раз смотрим — молчать не годится. Итак — сам. Итак — фермер. Как начать-то лучше? Фермер — мужчина (неплохо начал) лет пятидесяти пяти, среднего роста и крепкого телосложения (внешностью чем-то напоминает гусляра из моей детской книжки). То ли бородой окладистой, то ли глазами небесно-голубыми, то ли носом вытянутым с легкой горбинкой… Похож на былинный персонаж фермер. Впрочем, остальным (речь уже не о внешности) не похож ни капельки. И чего, действительно, быть фермеру похожим на гусляра до конца? Он что, сумасшедший? Нет, конечно. Он — современный фермер и одет летом в джинсы и короткую кожаную куртку. Зимой же фермер смотрится иначе, вернее богаче, и джинсы на нем другие, и куртка другая, потому что дубленка. А шапка? За шапку фермера не беспокойтесь. Она у него что надо, точнее, из кого надо сделана… Дальше пошло семейное положение. Женат. Жену я, правда, не видел, но говорят, что она всегда рядом, то есть в деревне без электричества, но с ветряками. Есть еще у фермера сын… или дочь… или их двое… Но это мелочи. Вот что есть у фермера железно — так это грузовик. Они вместе в здешней округе появились. Хороший грузовичок, чехословацкий. Что еще у фермера есть? Ферма — какой фермер без нее. Ферма — сказано не точно. До фермы фермеру еще далеко. Фермочка, скорее. Живность какая? Бычки, коровки, как будто овечки, как будто… все. Есть ли у фермера трактор — не знаю. Не знаю также, сажает ли фермер что-нибудь кроме картошки, сколько работников держит и как работникам платит. Но это надо снова голову ломать над состоянием фермерских дел — а не хочется. Вот и о магазине ничего определенного сказать не могу. Были разговоры, что собирался фермер в деревне без электричества магазин небольшой открывать. Вроде и барышню из местных в продавщицы звал… но вот появилась ли в деревне торговая точка — не знаю. Не знаю, что за люди к фермеру на иномарках в гости приезжают. Не знаю, зачем на глиссере потом по озеру гоняют и что после глиссера делают. Некоторые деревенские мужики дела, конечно, с фермером имели. Один землю вспашет (нет все-таки у фермера трактора), другой бычков попасет, третий еще что-нибудь поделает… Просят ли фермера помочь? Есть же у него под рукой грузовик, а под боком столярное производство. Просят, случается. Папа мой прошлым летом просил фермера и его грузовик привезти из Осташкова десять листов оргалита. Фермер обещал помочь, но не сразу — машина была в тот момент сломана. Однако впоследствии, когда грузовик заработал, просьбу не исполнил…

Что еще? Что-то о фермере было еще? Ах да, вспомнил. Брат мне рассказывал, что ехал как-то с фермером в автобусе, и тот на весь салон сказал: «Я владею пятью иностранными языками». И еще что-то не совсем определенное, но по-русски точно. Такая маленькая к портрету фермера деталь. Но она, кажется, у меня единственная. В целом маловато. Маловато. Но дело это поправимое. Можно запросто, ничего ведь особенного, подойти следующим же летом и спросить вкрадчиво: «Как ваши дела, любезный?». Может, тогда и узнаю о фермере что-нибудь еще, но поконкретнее-поконкретнее.

**Рога**

Прежде чем купить дом в сельской местности, Герман Матвеевич в крупном промышленном городе руководил не всегда большим, но всегда трудным строительным участком величественного метрополитена и несколько раз в неделю посещал соответствующее управление, хранимое от обывательского взора кованой, словно сказочной дверью в доме, то ли построенном, то ли обжитом известным архитектором-конструктивистом. Оттуда метростроевец выходил озабоченный новыми непростыми задачами и спешил к ведомственному УАЗу с трафаретной надписью «метрострой» на борту. Спустя некоторое время он уже торопился под землю, где недавнее решение руководства находило немедленный отклик в форме тщательно укрепленных стен, сверкающих новеньких рельсов, надежной электропроводки и всего остального, не менее значимого и сложного.

На пенсию Герман Матвеевич вышел в шестьдесят с небольшим вполне еще бодрым мужчиной с ростом метр девяносто и сильным желанием навсегда оставить семью, в которой уже появились непоседливые, розовощекие внуки. Желание поступить столь решительно зрело в нем давно, и вот однажды Герман Матвеевич объявил притихшему семейству неприятную новость. Вскоре, пойдя ветерану труда навстречу, метрострой выделил ему новую однокомнатную квартиру, и жизнь Германа Матвеевича потекла… В квартире новосел жил аккуратно и одиноко целый год, в течение которого много размышлял, как часто случается в подобном положении, о тихой деревеньке вдали от шума городского и, подталкиваемый такими мыслями, нет-нет отправлялся в рыболовный магазин, где внимательно рассматривал новомодный спиннинг или пластмассовый мандаринового цвета рукомойничек, непонятно откуда взявшийся в рыболовном магазине…

И вот однажды на одном из товарищеских ужинов своего бывшего сослуживца Герман Матвеевич познакомился с крупной, говорливой, без сомнения очень деятельной пожилой дамой, которая на вскоре последовавшей по ее же, кстати сказать, инициативе встрече отнеслась к размышлениям Германа Матвеевича чутко и более того, за чаем расширила его зыбкие горизонты до вполне реального бревенчатого домика в тверской комариной глуши. Домик, по словам новой знакомой Германа Матвеевича, там продавался какими-то ее родственниками. Из предложения «поехать и его посмотреть» выросло другое — о совместной жизни, и вскоре Герман Матвеевич расписался с Марией Петровной — так звали его избранницу — в областном загсе. Счастливый момент бракосочетания новая супруга Германа Матвеевича испытывала впервые, в отличие от старших сестер, успевших женами побыть, овдоветь и почить, наконец, в провинциально-деревянном Осташкове.

Деревня, в которой семейство собиралось купить дом, находилась от него неподалеку и располагалась рядом с красивым озером и смешанным лесом. Об этом новая супруга пенсионера метростроевца рассказывала с понятием дела, поскольку наезжала в деревню каждое лето, дабы навестить родственников и от души пособирать в лесу чернику. Кроме того, до войны и некоторое время спустя она там жила и знала в округе обо всех и обо всем… Сложив накопленные капиталы аккуратной стопкой, Герман Матвеевич сделал, таким образом, последний шаг и следующим же летом… семейство обзавелось частной собственностью. Мария Петровна вышла на пенсию и вместе с мужем сосредоточилась на обустройстве летнего места жительства.

Уже к августу домик обрел жилой вид и, словно подтверждая сей приятный факт, в палисаднике бешено зацвели георгины, а на черемуху, растущую рядом, слетелись птицы. В этом же месяце Герман Матвеевич приобрел у лодочника списанную салатового цвета плоскодонку, а Мария Петровна сварила ведро ароматнейшего малинового варенья. В начале октября супруги вернулись в город и стали томительно ждать весны.

В апреле, как только стаял снег, в числе таких же точно чистеньких пенсионеров пара отправилась на волю. Наступившее лето обещало стать приятнее и интересней предшестующего. Быт отвлекал супругов значительно меньше: Герман Матвеевич с утра ловил рыбу, ходил вместе с женой за грибами-ягодами, а вечером снова, но уже с Марией Петровной, рыбачил. Родственников, оставленных волевым местростроевцем вместе с первой женой, в деревне принимали редко. Гораздо чаще новый домик навещали находившиеся в районном Осташкове родные и близкие Марии Петровны.

Мысль, ставшая упрямым желанием отыскать в лесу лосиные рога, окончательно сформировалась для Германа Матвеевича в день его семидесятилетия. «Знаешь, чего мне хочется, Маша?» — спросил в праздничный час супруг. «Малинового варенья», — зная пристрастия мужа, уверенно ответила Мария Петровна. «Нет, не варенья». «Тогда борща», — уже сомнительнее произнесла супруга. «Снова не угадала», — громко ответил Герман Матвеевич, и в глазах его засветились озорные огоньки. «Сдаюсь», — игриво произнесла жена и поднесла к электрическому самовару чашку. Когда она подвинула ее к большой руке Германа Матвеевича, огоньки в его глазах продолжали светиться. «Ну что, говори», — с нетерпением сказала Мария Петровна. «Мне хочется…» — начал муж и, догадавшись, что концовка фразы выйдет двусмысленной, улыбнулся. Но начатую фразу Герман Матвеевич решил все же продолжить и произнес, не переставая улыбаться: «Мне хочется… рогов». Мария Петровна поперхнулась вареньем. «Я не поняла, а каких еще рогов тебе захотелось?» — откашлявшись, спросила Мария Петровна. «Лосиных, Маша», — ответил Герман Матвеевич и поднес к губам кружку. «Чего это вдруг, и куда мы их денем», — поинтересовалась Мария Петровна. «Найдем куда. В коридоре хотя бы. Найти главное. Повесить — дело второе». «Что, кстати сказать, приготовить завтра на второе?» — спросила Мария Петровна. «Рыбу», — ответил супруг и пошел спать.

На следующее утро вместо традиционной рыбной ловли Герман Матвеевич направился в лес. Он пошел налегке, не захватив с собой даже бидона под чернику, и, вернувшись к обеду, долго вычесывал из волос лесных насекомых. После того, как в двадцатый, наверное, раз Герман Матвеевич вернулся из леса ни с чем и плохо отозвался о поспевшей чернике, Мария Петровна устроила сцену, в разгар которой поднесла к крупному носу мужа свой монументальный кулак. Напугавшись, Герман Матвеевич пошел на компромисс и все последующие лесные походы совершал в обязательном присутствии жены и пятилитрового бидона. Ягоды он собирал медленно, глядя не на черничный куст, а куда-то вбок. Верность Герман Матвеевич сохранил только рыбной ловле. Почти каждый вечер плоскодонка несла притихших супругов по дремавшей озерной глади.

Всю зиму Герман Матвеевич узнавал особенности поиска лосиных рогов. Он заходил к владельцам (такие находились среди его товарищей метростроевцев) и внимательно рассматривал рога, висевшие, как правило, в прихожей. «Где нашел-то ты их, Савельич?» — интересовался Герман Матвеевич у хозяина. Тот делился историей с охотой и завершал рассказ фразой: «Да случайно, в общем. Я за грибами тогда пошел. Наклонился к подберезовику — смотрю, лежат в сторонке…».

Наступившее лето Герман Матвеевич провел в неустанных поисках. Однажды, когда он устал от утомительной ходьбы по бесконечным лесным завалам и собрался в обратный путь, его взгляд наткнулся на едва заметную металлическую заглушку какого-то деревянного предмета. Спустя десять минут Герман Матвеевич уже возился с проржавевшим замком ящика, спустя пятнадцать рассматривал фрагмент немецкого архива, а по прошествии получаса знал фамилию старосты, на которого, как следовало из по-русски написанного секретного донесения, можно было бы положиться немецкой администрации. Староста между тем здравствовал и поныне, продолжая руководить лодочной станцией и пунктом проката туристского снаряжения. Именно он однажды по сходной цене уступил Герману Матвеевичу списанную плоскодонку… Минуту-другую поразмыслив, Герман Матвеевич закопал ящик обратно, утрамбовал ногами землю и набросал сверху сосновых веток. Через полтора часа он был в деревне. Проходя мимо лодочной станции, Герман Матвеевич кивнул лодочнику и тут же решил свежую архивную тайну сохранить… Летом следующего года Герман Матвеевич обнаружил в лесу винтовку Мосина, ящик пулеметных патронов, глиняную крынку с истлевшими керенками и четыре лосиных скелета, напрочь лишенных рогов. Последняя находка с новой силой напомнила Герману Матвеевичу о цели поисков…

До леса Герман Матвеевич дошел быстро. Он ступил под его густую пахучую сень и пошел медленнее. Он шел так примерно час, пока резиновый сапог не ткнулся во что-то твердое. Герман Матвеевич прошел еще несколько шагов, прежде чем обернулся назад. Герман Матвеевич оцепенел. Из мшистой влажной земли торчали лосиные рога. Среди наступивших сумерек они фосфоресцировали каким-то дивным светом и словно готовились — так широко были расставлены их чудесные ветви — принять неистового искателя в свои объятия. Герман Матвеевич сделал несколько бессильных шагов к находке, упал на колени и заплакал…

Мария Петровна сначала увидела за окном подпрыгивающие ритмично какие-то размытые светлые пятна и поняла, в чем дело, когда супруг открыл двери в комнату и торжественно замер на пороге. Герман Матвеевич стоял, вытянувшись в струнку, и прижимал обеими руками рога к своей голове. Всю ночь он не мог уснуть. Герман Матвеевич лежал, улыбался и даже негромко хлопал в ладоши. Утром Герман Матвеевич никуда не пошел, а днем, вскоре после обеда, умер.

**Как мы покупали дом**

Папа вышел в отставку и купил в деревне дом. Против дома сестры Кольцовы, у которых мы жили летом, не возражали. Напротив, сестры пристально следили за тем, чтобы освободившийся, уже папе предназначенный дом случайно не купил кто-нибудь другой. Они буквально оберегали неказистый, папиного возраста домик два осенних месяца, а в ноябре приехал отец и оберегать Кольцовым стало нечего. Нет слов, необходимость в приобретении недвижимости была. Жить у Кольцовых большой нашей семье стало трудно, тесно, да и вообще… Кольцовы, особенно младшая — тетя Паня, любила в последнее время прикрикнуть на нас так, например: «У, дачники!». И спалось в избе неважно. Раньше, пока Кольцовы были помоложе, они спали в сенях на большой старинной кровати и там же — в сенях — среди ночи нюхали табак, яростно и подолгу чихали и надсадно звали на кровать своих нескольких кошек. Последнее же время все подобные поступки и телодвижения сестры производили в одной-единственной комнатке. Естественно, каждая их побудка сопровождалась тотчас тем или иным громким поступком, который будил нас, не собирающихся ни нюхать табачок, ни звать на лежанку голодных или не очень четвероногих. Не удобно, короче говоря, было очень. Собственный дом нужен был просто позарез.

И вот однажды, в начале ноября, следуя предварительной договоренности, отец пришил к теплой нательной рубашке маленький карман, положил в него необходимую денежную сумму и отправился в путь. До деревни папа добрался благополучно и за несколько дней, как говорится, «обстряпал дельце». Дом, который приобрел в собственность папа, был, как уже отмечалось, старенький, но вполне крепкий. В доме были довольно просторные сени, сарай с туалетом, кладовка размером с монашескую келью и большая, разделенная перегородкой надвое комната с кухней в самом углу. Отложив обустройство на следующий год, папа выпил с прежним хозяином дома трактористом Виноградовым водки и в хорошем расположении духа вернулся в Ленинград. Мама, конечно, осталась папой довольна. Еще мама сразу же после удачной сделки стала собирать в большую гору нашу старую одежду, одеяла, подушки, простыни и много чего еще. Папа же начал покупать совсем другие вещи. Например: ножовки, сверла, молотки, отвертки, рулетки, электрический провод, гвозди в красивой деревянной коробочке и прочий хозяйственный скарб. Еще зимой папа снова уехал в деревню, чтобы осмотреть купленный дом получше. Когда папа осмотрел его тщательно, выяснилось, что он невообразимо запущен, что населен клопами, что у дома не совсем надежен дымоход. Однако эти неприятные факты папу не смутили и, решив в первую очередь избавиться от кровососов, папа настежь раскрыл в избе все до единой двери, в сам поспешил к сестрам Кольцовым. У них он провел еще несколько ночей, так как клопы так просто сдаваться не собирались. И все-таки одолеть их папе удалось. Еще папе удалось ободрать в комнате и сенях старые, уже без клопов обои, очень тщательно вымыть дощатый, как выразился папа, «очень не эстетичный пол» и стамеской содрать со стен туалета «что-то не то», о «не том» папа выразился так же чрезвычайно деликатно. После этого папа собрался и уехал домой. Дома папу вновь встретили как космонавта. Мама, во всяком случае, встречала его именно так. Еще мама латала белье и стирала старые вещи. Еще мама с папой вместе мечтала летом в новом доме «отдохнуть по-людски».

Чтобы летом мы вместе с мамой отдохнули так вот хорошо, весной папа вновь уехал. Весной в деревне папа оклеил стены в сенях и комнате новыми обоями, накрыл старые страшные доски оргалитом и покрасил его популярной коричневой краской. Кроме того, папа заменил в доме всю проводку, оплатил электричество вместо тракториста Виноградова (мама до сих пор ничего об этом не знает) и одолжил у тракториста Никитина — соседа слева, если смотреть на папино приобретение со стороны фасада, — кухонный стол. Также папа приобрел в местном магазине софу, раскладушку, вилы, грабли, лопаты и много чего еще. В результате успешных папиных действий и приобретений комната и отчасти сени приобрели жилой, так сказать, вид, и в конце июня мы вместе с мамой пожаловали на отдых. Он, я отдых имею в виду, чередовался у нас с работой. В избе предстояло сделать еще многое. Во-первых — покрасить печку. Во-вторых — вычистить дымоход. В-третьих — необходимо было доделать ремонт в сенях и коридоре. В-четвертых — превратить маленькую, размером с монашескую келью кладовку в жилую комнатку с лежачим местом-тюфяком на ножках, который также предстояло смастерить. И, наконец, в-пятых — порядка требовал чердак — пространство, ограниченное от остального двухскатной крышей и потолком жилого помещения комнаты. Папа посчитал пятую заботу главной и вместе со мной принялся за дело. Целую неделю с утра пораньше мы забирались с папой на чердак и наводили там порядок. Сначала мы вытаскивали с чердака шлак, ведер наверное пятьдесят, если не больше. Потом барахло большого семейства тракториста Виноградова, среди которого были и дырявые телогрейки, старые валенки, разнокалиберные бутылки, сгнившие мешки из-под картошки, корзины, детали трактора, куски старинной прялки и много-много чего еще. Все эти вещи я переносил через дорогу и сваливал в глубокую, заранее выкопанную траншею. После того, как весь хлам был нами вынесен, я подмел березовым (их мы оставили на чердаке в их прежнем подвешенном виде) веником неудобный чердачный пол и трубу, вернее то, что рядом с ней располагалось. Потом мы с отцом благоустроили кладовку-келью и доделали ремонт в сенях. Потом папа съездил в районный Осташков и привез большой черно-белый телевизор. Его мы поставили на самодельную штуковину наподобие подставки и стали смотреть. Тут (надо ж, как совпало!) на улице, вернее в природе, случился дождь с громом и молниями, и, спасаясь от стихии, на пороге нашего дома возникла жена тракториста Виноградова — бывшая хозяйка нашего теперь дома. Конечно, Марию, так звали крестьянку, мы пустили внутрь, в чудно изменившуюся с телевизором комнату, и по поводу последнего и всего остального она воскликнула: «Ну, бля, дают!». После сакраментальной фразы Мария с осмотрела стены, пол, печку и все остальное и снова с тем же нескрываемым изумлением произнесла: «И тивилизер, бля, у них!».

Многие хвалили папу и часто говорили труднопроизносимые, почти бессмысленные слова, звучавшие, однако, очень эмоционально… Следующей весной и все лето папа рушил соседний с домом старый сарай, а потом в течение нескольких лет со мной и братом пилил старые бревна. После на месте сарая папа посадил картошку, кабачки, огурцы, крыжовник, яблони и черную смородину. Из смородины и крыжовника каждое лето мы варили варенье, а вот из яблок ничего не варили и не делали, потому что их на деревцах вовсе не оказывалось, чему, в отличие от нас, сосед справа, если опять же смотреть на дом со стороны фасада, старый фронтовик дед Семен нисколько не удивлялся и с понятием дела говорил: «Яблони все в Финскую войну еще померзли». Деду, конечно, очень хотелось возразить, ведь яблони мы сажали три года назад, но мы молчали, а дед невпопад, громко произносил: «Спасибо Сталину-грузину, всю страну одел в резину»…

Все, короче говоря, что в Финскую войну не померзло, у нас растет хорошо. Хорошо с огурцами, патефонами (так называет патиссоны тракторист Никитин), картошкой, свеклой, морковкой, и с зеленью разной хорошо тоже. Зелень, между прочим, мы научились консервировать в полуторолитровых банках. Консервируем зелень, чтобы ни случилось. Было, например, такое: в Москве путч, а мы зелень консервируем. Зато как потом замечательно бросить щепотку этой самой зелени в суп! Да и не только в огороде, в избе тоже, несмотря на путчи, все в порядке. Мебелью кое-какой в конце концов обзавелись. Диван еще один купили, холодильник небольшой. Стоит теперь холодильник в сенях, трясется, булькает, спать мешает.

Так незаметно из прошлого шагнул я вместе с домом и всеми домочадцами в настоящее. Настоящее смутно. Но жить надо. Чего не жить, правда, когда и дом, и огород, и соседи слева-справа. Все, в общем, на месте, даже кармашек на папиной рубашке. А с яблонями, я надеюсь, все-таки решится что-нибудь. Я хорошее имею в виду, не «Финскую» во всяком случае.

**Колорит**

Что бы там ни говорили, а свое неповторимое лицо тверская деревня имеет. Есть у нее и свои специфические слова, и колоритные клички, и диковинные названия природных мест наподобие озера, болота и даже обыкновенной самой лужи.

С лужи и начнем. Лужа называлась Грязной и располагалась в смешанном, то есть не пойми каком лесу. Рядом с ней, с двух ее сторон, справа, значит, и слева, располагались два болота с черникой и ненадежными подберезовиками. Близко было до Грязной лужи, откуда в лес ни направляйся. От Белькова до Грязной лужи — ближе всего. Бельковские чаще других чернику рядом с ней и собирали. Кто бы бельковских когда бы ни спросил, откуда, мол, черника, — тут же слышал: «С Грязной лужи. Откуда ж еще?».

Но были еще места черничные. Например, под Изопкой. Что такое Изопка — убейте, не знаю. Но слышал очень часто: «Пойдем сегодня под Изопку?». Изопка — черничное тоже место. Также под Изопкой — свои болотца и свои ягоды.

Раз о ягодах заговорили, самое время о клюкве вспомнить — есть такая. Растет в Большом мху. Большой мох… Индейское какое-то название. Клюквы во мху рождалось обычно много. Грибы, если продолжать список, искали рядышком, вокруг озера.

Озер было много. Большие Ветрицы, Средние Ветрицы, Малые Ветрицы. Потом — Стергут, Щучье, Свапущенок и невероятное, китайское прямо озеро Джао. Озеро Джао — чудеса! Я этого озера не видел, не доходил до него. А во всех трех Ветрицах ловил рыбу.

Кроме рыбы хранили некоторые из озер и печальные тайны. Зачем, почему, как утонул деревенский Сашка в озере Стергут? А в озере Щучьем — многодетный, немолодой уже Вовка. И на одних из Ветриц тоже что-то нехорошее произошло… А на Средних Ветрицах случилось однажды и замечательное лихачество — если, конечно, верить рассказчику, средних лет москвичу, гостившему в деревне Князево. Он поймал на озере щуку, но, как водится, без свидетелей, и однажды моей не совсем еще средних лет маме (возраст подчеркивается специально — мамин возраст мог заставить москвича кокетничать, а говоря откровенно — врать) рассказал следующее… Нет, подождите. Тут произошел целый диалог. Мама: «Вы, говорят, ловите на Ветрицах щук?». Москвич: «Правильно говорят, ловлю». Мама: «И что, попадаются?» Москвич: «А как же». Мама: «И большие?». Москвич: «И большие. Вот тут недавно одну большую удивительным образом выловил». Мама: «Вот как? Расскажите». Москвич: «Пожалуйста. Размахнулся я, значит, спиннингом как следует, чтобы блесну подальше забросить. Бросил, и вдруг… когда блесна на леске спиннинга еще была в воздухе, из воды выпрыгнула здоровенная такая щука. Тут и случилось невероятное — блесна с крючком угодила щуке в голову и так крепко за нее зацепилась, что я без труда вытащил рыбу на берег». Мама: «Да, ничего не скажешь, невероятный случай, удивительное везение». Москвич: «Так и есть, Вы совершенно правы. Удивительный случай. Невероятное прямо везение»…

Наверняка дачник маме врал. Попробовал бы он рассказать подобное Головешке, например, или Черничнике, Почикану или Хорю. Хорошие клички, ничего не скажешь. Истории их возникновения я не знаю, но погадать можно.

Взять Головешку. Кто его видел, в один голос скажет: смуглый мужик, как мулат, темнокожий. А Черничника? Тоже темнокожий. Черника — черная. Вот и кличут так… А может быть, я путаю. Вдруг на самом деле Головешка — Черничника, а Черничника — Головешка. Тут, в общем, надо еще как следует разобраться. С Хорем проще. Хоря я в лицо знаю. Да и не только. Всего его на мотоцикле рассматриваю. На мотоцикле — на нем. Без него Хорь — никуда. И без папиросы тоже. Она у Хоря все время изо рта торчит, как-то странно, ступенькой, губу огибает и частенько не горит. Папироска у Хоря — атрибут, и мотоцикл тоже, и алкоголь. Впрочем, это уже совсем другое, это для Хоря, как и дая многих деревенских, замена смысла жизни. Итак, суммируем: алкоголь (начать надо с него), папироса, мотоцикл — ну, и путь. На пути Хоря лучше не оказываться — собьет и не заметит…

Почикан — человек совсем другой. У него мотоцикла нет и не предвидится. Даже странно, почему у такого тихого, невзрачного человечка такая грозная кличка? «Почикать» означает… неприятности. Но как от Почикана могут быть неприятности, если он ростом с пионера и у него даже своего дома нет. Мыкается Почикан, разрываясь между двумя домами — замужней сестры и собственной супруги с двумя взрослыми дочками…

Был еще Келдыш — шустрый такой мужичок, трактористом в совхозе работал. Хорошо это у него выходило, бригаду даже одно время возглавлял. Смекалистый мужик — жаль, помер рано…

Вот Пятьдесят на пятьдесят — никак не Келдыш. Этому бог ума не дал. Вернее, дал только половину — пятьдесят процентов.

И Катю сестры Кольцовы в свое время нарекли похожей по смыслу кличкой — Февраль. «В феврале, как известно, дней меньше, чем в остальных месяцах», — объясняли Кольцовы, когда я приставал к ним с расспросами. Но мне вторая Катина кличка больше нравилась: «Катя — шоколадные зубы».

Прозвища между тем и дачникам давали. Военного в отставке Полковником величали. Решившего в деревне прописаться петербуржца нарекли за большой нос Носом.

Были еще Ершиха, Соколиха, Гома. Это женщины. Они живы и здоровы. Ершиха вот только уже в годах, однако нет-нет и на рыбалочку, зимнюю почему-то, случается, выйдет…

О кличках — хватит. Теперь о словах.

Вот, например, слово «малец». Малец у деревенских — мужчина вообще. Это и младенец, и юноша, а в минуту тревоги или нежности — даже старикан. Дерется, скажем, этот старикан с Пятьдесят на пятьдесят. Дерется — громко сказано, конечно… А старуха тут как тут, орет: «Отступись, змей, от моего маль-ца!». Смотришь — Пятьдесят на пятьдесят и смылся скоренько…

Если холодно — то «горазд холодно», если дождь сыплет — то «горазд льет». Кружка — «черпачок». Пей из «черпачка», как хочешь, — а ведь пьют… Заходит раз как-то к нам в дом Колька-сирота. У него, по-моему, клички нет, сиротой его называет моя мама… Так вот, заходит этот Колька:

— У тебя черпачка не найдется?

— Чего-чего? — переспрашиваю.

— Ну, кружечки или стаканчика какого-нибудь, — объясняет Колька.

— Это есть, — говорю я и приношу «черпачок».

Колька тотчас наливает из бутылки разбавленный спирт и мигом выпивает. Выпивает и рукавом занюхивает. Занюхивает и спрашивает:

— Будешь?

— Нет, — отвечаю я.

— Тогда на обратно черпачок, — говорит в ответ Колька.

Крапива — «стрекала». Щурята — какие-то «стчукрята». Если «а», то — «а-а-а» — долго у местных эта буква звучит. А «я» у них частенько вместо «и» используется. Тракторист Някитин. Продавщица Эфрида Алексеевна — без имени Аляк-сеевна. Начальник пункта проката лодок и турснаряжения Кузняцов. Пенсионерка Капятонова.

Даже из этого короткого рассказа вывод сделать несложно.

А раз так, то и делаем.

Вывод: неправы те, кто считает, что нет у тверской деревни своего оригинального лица. Есть лицо.

И все остальное есть тоже.

**Зимой в деревне**

Зимой в деревне скучно. Зимой в деревне долго не поживешь: ну, недельку, ну… нет, пожалуй, только недельку. Но ездить зимой в деревню надо. Надо-то — картошку, другое — огурцы с вареньем — забрать… Дом проверить, крыс спугнуть.

А с холодом что делать? Холод в сенях, в комнате, в кухне. В ведре вместо осенней водицы — кусок льда. На кровати — иней, изо рта — пар. Спать с дороги хочется. Что с того, что час, как топится печь? Два, три, пять часов не русская печка, а голландка в комнате топится. И через восемь часов в избе еще прохладно. Уснуть можно ближе к вечеру.

Можно, в принципе, и не спать, а смотреть телевизор или читать книгу. Но и это дело непростое, холодно потому что в избе все равно.

Водки, что ли, выпить? Не надо ее пить. Уснуть попытаться и без водки можно. И удается, между прочим. Урывками, конечно.

Прибегает еще одна дачница, Руфина Ивановна, и прямо с порога нам с папой говорит:

— Поздравляю.

— Спасибо, но с чем? — спрашиваем Руфину Ивановну.

— Как с чем? С красотой! Красота-то какая! — отвечает Руфина Ивановна и продолжает…

Из продолжения следует, что Руфина Ивановна в деревне — неделю, что с ней приехала дочь, которую она вчера проводила на автобусную остановку поселка Свапуще. До поселка Руфина Ивановна с дочкой шли пешком, но с саночками. Несмотря на саночки (с поклажей, разумеется), Руфина Ивановна весь десятикилометровый путь смотрела по сторонам и дивилась красоте. После того как дочь села на автобус, Руфина Ивановна проделала прежний с красотой путь и «ни капельки не устала».

— Какая вокруг была прекрасная картина! — в очередной раз восклицает Руфина Ивановна и касается меня рукой:

— Вы, наверное, меня понимаете?

— Понимаю, понимаю. Красота… Кругом — диво, всюду — чудо, — отвечаю я и прижимаю спину к теплой голландке.

Двадцатикилометровый *путь* шестидесятилетнему человеку преодолеть непросто. Можно, в общем, его и превозмочь как-нибудь с божьей (без нее никак) помощью. Одолев тяжкий путь, пожилой, не совсем здоровый человек, на мой взгляд, сказал бы приблизительно следующее: «…и ведь, как назло, ни одной попутки. Двадцать километров отшлепал — думал, умру…». Несчастному мы с папой посочувствовали бы: «М-да, путь, прямо скажем, неблизкий. Да и один конец, как мы слышали, у вас с поклажей получился. И все-таки, скажите, красиво, наверное, было вокруг? Снег на елках, лисий след, снегирь. Видели ли вы снегиря?». «Да ну, о чем вы, право. Какой снегирь, когда впору было о корвалоле думать…» — ответил бы, всплеснув руками, горемычный сосед. Соседа-дачника у нас, признаться, нет, зато есть соседка Руфина Ивановна.

К вечеру в избе теплеет. Можно ложиться спать…

Утром рыбалка. Отец уже на озере. Я иду к нему в больших черно-зеленых сапогах от военного химкомплекта. На озере — лед, он дарит мне через пять минут лунку.

Какие все-таки смешные удочки! Удочки для зимней рыбалки — маленькие-маленькие. По сравнению с ними летние, бамбуковые — большие-большие. На конце наших с папой удочек — черный резиновый хоботок. Когда рыба клюет, он приходит в движение. О движениях хоботка надо спрашивать рыб. Еще имеет значение интуиция, сноровка, реакция. Почувствовал, увидел скорее, что хоботок нагнулся «как следует» (это папина ремарка), —дергай. Дернул… и что?

Когда что. Когда — плотва, когда — густера, когда что-нибудь побольше. Для меня самое главное в зимней рыбалке, чтобы не было холодно. Когда не холодно — тепло рукам. В варежках рыбу ловить неудобно. Тащить рыбу и насаживать на крючок булочную дробь в рукавицах невозможно, в перчатках — неловко. Руки — мое слабое место. Если холодно, руки синеют, а если тепло, наоборот, краснеют. Было мне, скажем, холодно, были синими мои руки, и вдруг бэмс — смена температуры. Были руки синими — и вдруг, минуя нормального телесного цвета стадию, покраснели… Берегите руки!..

Обед обедом. Книга книгой. «Я не Штиллер!» — кричит Штиллер полицейским.

— Я читаю Фриша! — кричу я папе, потому что нормально говорить мешает печной шум.

Хорошо читать зимой романы. Лежишь на кровати и читаешь. И пусть роман — про любовь. Пускай любовь в романе — несчастная. Несчастная любовь, согласно абсолютной логике, — тоже любовь.

— Лежит! — кричит уже папа.

— Кто? — спрашиваю я.

— Не знаю. Пойду посмотрю…

Отец подошел к лежащему на снегу Толе и обнаружил с ним рядом сына тракториста Никитина, который очень хотел, чтобы односельчанин оставался лежать на снегу как можно дольше. Тут же выяснилось, что напротив трактористского дома Толя спел частушку, всем своим глубоким смыслом посвященную жене Никитина Рите, и «мамку обозвал», — подоспел быстрый на расправу Ритин сынуля. Папа грозного сынулю от бандитского поступка отговорил и долго потом поднимал со снега Толю с подбитым боком. Потом отвел его домой. Потом поделился со мной впечатлениями. Вдруг — стук в дверь. Через секунду на пороге возникает недавно поверженный Толя. Толя пьян. Он зол на всех. Кричит отцу:

— Помоги! Дай лекарств!

— Как, Толя? — отзывается папа.

— Не знаю, помоги, дай лекарств, — не отстает Толя.

— Ляг, полежи, — вместо лекарств предлагает отец.

— Нет, дай лекарств. У меня бок болит, — не унимается Толя.

— Это ушиб. Ляг, полежи, — снова предлагает папа.

— Гад! Полкаша хренов! Добра нажил, лекарства спрятал, дай выпить! — строчит ахинею Толя и теряет равновесие…

Какой Толя тяжелый. Тяжелый, пьяный, злой. Спать надо Толе и лечить бок…

Утром бок почернел. Хворал Толя две недели, в суд, однако, на сына тракториста Никитина не подал. Их нравы, в общем…

Мне кажется, что здесь звезды — общие и принадлежат сразу всем. После происшествия рассматривать их — одно удовольствие. Большая Медведица и Ковш, оказывается, одно и то же…

Штиллера привели в мастерскую (до своего исчезновения он работал скульптором). Штиллер мастерскую не узнал. После этого снова начинается любовь. Какой бы она несчастной ни была — любовь лучше войны. Любовь — мир, как ни крути… Моя сестра в «Войне и мире» отыскивала мир, а остальное пропускала…

До автобусной остановки нас подвез тракторист Пантелей — усы, очки, ватник. Ехали и мерзли. После тепленькой рыбалки — возьми и захолодай. Едем, мерзнем, по сторонам смотрим. Красота? А как же. Снегирь? А то. Лисий след? Ничего подобного. Все что угодно: елочки, сосенки, птицы, рыбы (в рюкзаке), а следа нет, следа — след простыл…

Автобуса ждали у жены работника лесхоза. Ждали — дождались. Сели — поехали. В городе (ехали — приехали) стали ждать поезд. Кстати, в моем рюкзаке оказался детективный сборник. Мужчина в новелле из сборника погиб красиво, точнее, убили дядечку изящно. Увидел убийца, что у будущей жертвы пальчик порезан, а ему (жертве) им (пальчиком) в карты еще играть. И, уединившись, ядом карты мажет. Мажет и банкует. Банкует и смотрит, как несчастный порезанным пальцем отравы касается. Дальше — химия процесса: яд — в кровь, лицо — на игральный столик. Коротка, короче говоря, человеческая жизнь, и ищите-свищите теперь преступника.

Вещи после подобного времяпрепровождения сортировать трудно. Рюкзаки — ладно. Рюкзаки, как труп несчастного из детектива, — крути, верти, как хочешь. А сумка с клубничным вареньем — дело другое… За сумкой — глаз да глаз. Око за око от мамы, если сумочку невзначай уронишь. Бабах, тресь — мама, прости…

Проводник в вагоне ведет себя импрессионистически. То, что он качается, — ничего, это не импрессионизм, а пьянство. Неприятно другое — холод в вагоне. Не топят, потому что лопнула какая-то «колесная пара». Про нее без конца кричит проводник и трясет головой в белой шапочке «петушок».

Кричит проводник — да не всегда (вот где импрессионизм, диковинная смена настроений). Одному из интересующихся причиной холода он спокойно и обстоятельно говорит: «Не растопить уголек, понимаете… лопнула колесная пара… Дровишек бы, матрасов бы». И второму, и третьему. Но вот на четвертом пассажире терпение у проводника в белой шапочке лопается. На вопрос, почему в вагоне холодно, он орет: «Щас в морду совком! Узнаешь тогда, когда!». Потом снова троим или четверым отвечает на один и тот же вопрос любезно: «Потерпите, растопится. Еще часик — и растопится». Но импрессионизм не заканчивается. Снова идет к проводнику облаенный недавно пассажир и спрашивает: «Ну, что? И — где?». «Щас ты у меня узнаешь все! Щас — совком промеж глаз!» — опять орет шапочка. Конечно, работа у проводника трудная. Он к тому же, как я понял, и не проводник вовсе. Судя по тому, как часто у него в разговоре лопается пресловутая колесная пара, шапочка — сложной специальности железнодорожный рабочий. Или нет? Или да?

В вагоне по-прежнему холодно. Дети (они возвращаются в город с каникул) жалуются на затекшие от неудобного сидения или лежания ноги. Детей жалко.

И все-таки через час после станции Бологое в вагоне теплеет. Проводник в белой шапочке прямо на глазах меняется. Про совок он больше не вспоминает. Что еще? Еще у пассажира, успевшего занять верхнюю полку, по прибытии на свободной от лежания щеке обнаруживается похожий на пену для бритья холмик снега. Забавно очень. Очень плохо, что клубничное варенье меня в зале ожидания не послушалось. Из-за него мама дома расстроилась.

**Дома и домишки**

Деревня, в которой мы отдыхаем, называется Бельково. Деревня Бельково, по местным меркам, довольно большая. Считать в ней избы не хочется, но посчитать можно. Считаем. Раз — изба почившего вместе супругой Германа Матвеевича — метростроевца и рогоискателя. Два — тракториста Осипова с женой, детьми и тещей. Три — отца тракториста Осипова деда Семена и его старшего сына — холостяка. Четыре — домик старушки Остроумовой с сынком-буяном Евгением Ивановичем. Пять — избушка наша. Шесть — тракториста Никитина. Семь — тракториста Никитина тоже, потому как отец тракториста умер, а домик седьмой (напомню) по счету принадлежал именно ему. Восемь — изба родителей тракториста Ракитина. Девять — собственно тракториста. Ну, и хватит, пожалуй. Ко всем перечисленным девяти следует добавить еще избушки три-четыре, ну, может пять. Кончается деревня Бельково домом москвича-«атомшык» — так его называет Тоня Капитонова, дом которой стоит рядом. Следующие метров двести пространства ничем, кроме труднопроходимой дороги, не заняты.

Потом начинается деревня Коковкино. Деревня Коковкино примерно раза в три больше нашей. Считать в деревне избы я не стану. Живут в ней ранее упоминаемые личности. Например, братья Соколовы (Соколята), или экс-тракторист Виноградов, продавший нам дом… Не знаю, как для остальных, а для меня деревня Коковкино состоит как бы из двух неравных частей. Первая часть — дома, расположенные ближе к нашей деревне и заканчивающиеся (я повторяю, членение это субъективное) зелененьким с синеньким почтовым ящиком продовольственным магазином. И еще дома эти, если двигаться от нас, расположены только по левую сторону дороги. Лишь у самого магазина с правой стороны стоят два домика…

Но вернемся на минутку к домам, расположенным слева, к озеру ближе. Все они построены не так давно и внешне поэтому от домов прочих заметно отличаются. Дома большие, точнее длинные, два семейства в них влезет запросто. Естественно, внутри домов бревенчатая перегородка и не внутри, а снаружи, с двух противоположных концов совершенно симметричные входы-выходы. Дома строили в начале восьмидесятых годов то ли студенческие строительные отряды, то ли кто-то еще. Все, с домами покончено. Дальше магазин. После него начинается вторая, большая часть деревни Коковкино. О ней мне известно немного, по нескольким причинам. Во-первых, дома из этой второй части расположены в стороне от главной дороги. Во-вторых, местные жители, ее населяющие, дел с нами не имели, вернее, мы с ними редко связывались. Разве что в двух или трех случаях. Например, у Кузнецова — начальника пункта проката лодок и туристского снаряжения — мы однажды ремонтировали собственную лодку, а у Марии Ивановны и еще одной местной жительницы покупали по дешевке клубнику. Именно в Коковкино проживают деревенские Головешка, Черниченка, Почикан, жена Почикана Гома, старуха Ершиха, а также выбравшие деревню на жительство, прежде горожане Борода — Юрий Феодосиевич на самом деле — и Нос — не помню, как его по имени отчеству…

Если по дороге направиться к автобусной остановке, то следующей после Коковкино будет деревня Костылево. Деревня эта по сравнению с деревней Коковкино просто крошечная. В ней всего три дома. Три — не десять. Можно их описать поподробнее. Первый — дом библиотекаря Веры Михайловны. Написал и понял, что поспешил. Недавно совсем позвонила нам ленинградка-дачница из соседней деревни и сообщила печальную весть — сгорел дом Веры Михайловны дотла и живет теперь та вместе с мужем то ли в библиотеке, то ли у родственников. Уповают теперь сельчане, и мы с ними заодно, на местный лесхоз и мужа Веры Михайловны, который в нем трудится. Еще звонившая нам дама сообщила, что борьба в момент пожара шла в основном за соседний дом. Поборолись и… спасли. Он, к слову сказать, принадлежит еще одному лесничему— мужчине с фамилией Шарапов. У Шарапова все в порядке, даже пасека своя. И еще важно, теща Шарапова — баба Катя — дальняя родственница Кольцовых. Она, в отличие от сестер, жива-здорова и справила не так давно невероятную годовщину. Сто лет бабуле — и ничего: выходит в палисадник посидеть, рукой, если на автобус идешь или, наоборот, с автобуса возвращаешься, махнет. А вот Митька — бывший пастух — рукой не машет, а ругается при встрече матом, словно перед ним не люди, а коровы. Как он на коров орал, как глоту свою луженую драл… И ведь гад — палкой в животных бросался. Но меня больше другое удивляло. Я о Митькиных псах. Ну подумаешь, собака. Как бы не так. Псы у Митьки особенные. Они, в отличие от хозяина, и вели себя тише, и функции пастушечьи выполняли лучше. Псов этих, если не ошибаюсь, Митька, когда вышел на пенсию, отдал зятю — тоже пастуху. Раз есть у Митьки зять, значит существует дочь и законная супруга. Живет Митька с женой в последнем — третьем по счету доме. Дальше остановка. Ближайший от остановки в сторону районного Осташкова поселок Свапуще. В Свапуще есть средняя школа, дом культуры, бывший уже сельсовет и больница с поликлиникой. Если повернуть в противоположную сторону, то после деревни Костылево будет сначала деревня Алексеевское, а потом Вороново и Волговерховье. Деревня Волговерховье — вымирающая, как грустно пишется и говорится. До нее даже автобус не доезжает. Автобус сворачивает раньше, у деревни Масеевцы — там у него кольцо. Деревня Масеевцы прежде всего почтовое отделение. Название это мы пишем на конвертах и посылках вместе с Осташковским районом и Тверской областью. Еще в деревне Масеевцы есть церковь и медпункт с пожилой фельдшерицей. Рядом с деревней Масеевцы деревни Новинка и Ивановское. В деревне Ивановское до революции жил «барин» (так в вечерних беседах называл всегда местного помещика дед Семен). Сейчас в помещичьем особнячке какой-то засекреченный дом отдыха.

Дальше расположена рыбацкая деревня с легкомысленным для столь серьезного промысла названием Белка. Какие деревни расположены дальше, не знаю. Знаю зато, что пора нам в нашу деревню на другую сторону озера вернуться и в противоположную Коковкино с Костылевом сторону, насколько память и знания позволят продвинуться.

Соседняя (метров триста до нее) к Бельково деревня называется Шелихово. В Шелихово избы, одна из которых и принадлежит звонившей нам недавно ленинградке. По соседству с ней живет еще одна наша землячка. Женщину эту зовут Шурой. Следующая изба — не изба, а целая усадьба — жилище бывшего председателя колхоза. Чего только у него, помимо дома, не настроено: и баня, и коровник, и овчарня, и парочка сараев, и троечка веранд. А парников, парников-то у него сколько… Дальше деревня Узголово (ее еще называют Заручьевье) начиналась избушкой сестер Кольцовых. Но пожар лет пять назад унес ее вместе с младшей Кольцовой… Второй ярко-голубенький дом Катин, третий Лидин. Дальше что? Дальше дорога, километра, наверное, полтора. Затем — красивая деревня, о которой было достаточно. Дальше — деревня Городок без электричества, но с фермером. Дальше… Дальше надо идти от Городка часа, наверное, два, чтобы увидеть деревню, название которой уже несколько лет не могу вспомнить… Дальше, это уже самая настоящая даль, деревня Ширково, со знаменитой безгвоздной церковкой. Что потом — не знаю. Знает путеводитель. После того, что знает путеводитель, — город Пено, через который, как и через Осташков, ходят поезда. Рядом с городом Пено заканчивается наше озеро Стерж, а с ним и наше описание.

**В красивой деревне**

Деревня Князево, на мой взгляд, в наших краях самая красивая. Такой вот красивой делают ее многие вещи. Взять, к примеру, месторасположение. Озеро в несколько километров шириной и длиной, глазу недоступной, — представляете? Вот у самого этого озера, Стержем именующегося, на невысоком взгорке деревня и стоит. Впрочем, рано еще о деревне говорить, а о бережке стоит. Бережок живописнейший: это и щучьи заводи, и потрясающей красоты ивы, и очень даже для загорания подходящий пляж с ровным и песчаным дном. А вековые сосны на обрыве, а ласточкины гнезда с ласточками… На взгорке картинные покосы братьев Соколовых, или Соколят, как их называют между собой деревенские… Раз так, раз уж на покосе Соколят оказались, то и глянем вокруг. Глянули — увидели три избушки. Вернее, сначала две, а чуть присмотревшись, за второй и третью рассмотрели. Избушки, казалось бы, как избушки, да расположены все три удивительно для глаза приятно. Первая — бабы Дарьи — на самом высоком месте стоит. Стоит черная, ветхая, к озеру лицом и старится вместе с хозяйкой. Бабе Дарье сильно за восемьдесят. В войну она потеряла не только мужа, но и единственного сына. Так с тех пор и живет одна. Случалось, конечно, старушку навещали то ли дальние, то ли и вовсе не родственники. Приезжали и в одиночку, и парами, потом уезжали до лета следующего или неизвестно какого. Был еще у старушки, помнится, дьявольски хитрый кот. Чего только котище этот не вытворял, куда, точнее будет сказать, в доме сестер Кольцовых не забирался. В подпол с хозяйским провиантом — проникал, на чердак с папиной воблой — забирался, от полешка убегал, от яда уворачивался. Между прочим, чтобы злодейства эти вершить, коту несколько километров идти приходилось. Для кота, тем более такого коварного, это, разумеется, пустяк, но неприятный, — в итоге с папиной воблой — очень. Однако мы отвлеклись. Сначала от красивой деревни, потом бабы Дарьи. Вернемся, следуя обратной последовательности, к старушке. Жила, в общем, бабуля тихо, мирно и в конце концов померла. Хоронили ее, по местным меркам, даже с некоторой помпой. Но это все москвичка Валя, прежде не одно лето у Дарьи гостившая, а потом и свой дом рядом построившая, постаралась. Умерла баба Дарья — царствие ей небесное, а Вале не знаю, что и пожелать… Что-нибудь пожелать, наверное, надо. Трудно ведь городскому человеку на первых порах в деревне приходится. Трудно — нет слов. А Валя коровками сразу обзавелась, и овечками, и курочками, само собой… Ладно… Валя женщина не старая, справится как-нибудь, муж — летчик гражданской авиации — как раз на пенсию вышел. Он поможет — плечо крепкое подставит…

Что у нас там с последовательностью выходит? Сначала старая изба бабы Дарьи, новая Вали… Чей домишко второй? Известно чей — бабы Груши. У бабы Груши жизнь сложилась счастливее. Во-первых — живет и здравствует. Во-вторых— похоронила в войну только мужа. Дети — это в-третьих — давно и крепко стоят на ногах. Сын Груши — Сашка по кличке Хорь, например, живет от матери… на мотоцикле езды минут двадцать — двадцать пять. Сашка — нет проблем — матери всегда сенца для коровки накосит, крышу поправит, приемник починит… Выпьет после всех этих славных дел Сашка и… сеть поставит в заводе. Помните — она бережок вместе с ивами украшает. Ну, Сашка — ладно, он гость у матери частый, а вот дочь Липа по причине сибирской прописки — нет. Приезжает только летом, и только с детьми… Чуть не забыл! Был в биографии деревенской бабы Груши героический штрих. Я плененных Грушей немцев имею в виду. Груша ведь что проделала? А вот что: смотрит, заснули после трудной дороги фрицы в ее избе (в ней они решили остановиться, передохнуть), Груша, не мешкая, бежит в самую дальнюю деревню разведчиков звать. Те на лыжы (дело зимой было), и вперед… Дело дальше было ее — техники разведческой… Немцев взяли в плен и без суда расстреляли… И еще несколько слов о бабе Груше сказать хочется. Вернее, даже не о ней, а ее неувядающей хватке. Она у Груши, мне кажется, с военных пор на сонных немцах отработана. Речь вот о чем… Сидели мы с папой как-то неподалеку от красивой деревни и жгли костер. Жгли — что тут особенного. Не помню сейчас точно куда, но куда-то в сторону, в лес, за дополнительным хворостом папа подался, а баба Груша — наоборот — к озеру, к нашему костерку устремилась. Подошла решительно и кричит на меня: «Сейчас же потуши костер! Я лесник! Сейчас оштрафую — узнаешь!». Я-то старушку узнал, а она меня нет, поэтому, наверное, как недавно наш костер, распалилась. Что делать? Папу ждать или папой прикрываться? Можно было и послушаться — костер потушить. Я, между прочим, так и хотел сделать, но в последний момент из леса вышел папа и конфликт был исчерпан. Ушла баба Груша в лес с улыбочкой, очень собой довольная, а мы побросали в костер новый хворост. Хворост… Дрова… Бревна… Дом. Третий дом в красивой деревне остался. Он по количеству рядом с ним построек остальные превосходит. Крепкий дом с многочисленными постройками говорит отчетливо о присутствии в нем хозяина… Мужчины. Однако стоит все же поправиться. Мужчина Ванька Демкин (Демкин не фамилия, а кличка, на фамилию похожая) недавно умер. Но когда жил — крепкие по сей день постройки тому подтверждение — трудился старательно и успешно. Вообще правильно мужчина жил: жену любил, детей воспитывал, умело строил, как уже отмечалось, удачливо рыбачил, как не отмечалось. Тоже с биографией сельчанин. Во время войны партизанил где-то под Торжком или Лихославлем. Орден на замусоленном пиджаке до скончания дней носил. Умер Ванька чуть ли не с топориком в руках — мастерил, как водится, что-то. Жена жива, но не очень здорова. Дети — молодцы, летом навещают…

Казалось бы, смотрю с высокого места на домишки эти — а точно на счет последних двух сказать не могу. То ли Грушкин дом в иве, как бережок в озере, утопает. То ли Демкина банька… Но это детали. Главное, в Князево свет провели. А ведь долго его там не было. Во всех деревнях есть, а в Князево нет. Но провели в конце концов. Ванька Демкин с ним лет пять пожил, посветил. А в следующей деревне с многообещающим названием Городок света нет до сих пор. Даже фермеру, там проживающему, несмотря на все его разнообразные старания, навстречу не пошли. Пришлось поэтому фермеру ветряки ставить. Но в Городке не только фермер, там и обыкновенные самые люди проживают, как им без света? Вопрос сложный, болезненный прямо. У меня, например, от вопроса этого что-то внутри или снаружи заболело. Как мне теперь вокруг смотреть, красотой деревни Князево любоваться и дальше, и дальше о ней рассказывать…

**Осташков**

Все о деревне, да о деревне. С одной стороны, правильно — тема благодатная, но с другой стороны — неплохо бы и о районном Осташкове рассказать. Осташков… Осташков без Селигера не представить. Из-за дивного этого озера многие и знают город. Любопытно очень, но некоторые мои собеседники прежде Осташкова именно Селигер вспоминают, причем название городка, случается, даже коверкают. Зато Селигер звучит у них превосходно, отчетливо, звонко. «Я ходил на байдарке по бескрайнему озеру Селигер!» — говорит один. «Я отдыхал на турбазе “Сокол” и купался в чистейшем озере Селигер!» — откликается другой. Оба правы совершенно. Красивое озеро — нет слов. И большое, и промысловое, и чистое — что очень сейчас актуально. Селигер — жемчужина Осташкова. Селигером называют музыкальный ежегодный фестиваль, турбазу, гостиницу, универмаг и много чего еще. Врать не стану — по озеру на кораблике мне кататься доводилось, а рыбачить — нет. Будет возможность, конечно, покатаюсь, порыбачу, покурю, покемарю в лодочке… А пока поверьте на слово — много в Селигере рыбы. Раз есть в озере рыба — значит есть рыбоперерабатывающий заводик, который коптит, консервирует, солит… Есть еще одно предприятие, по логике с него следовало начать. По местным райцентровским меркам предприятие крупное, работает на нем чуть ли не половина трудоспособного населения. Что там и как у труженников на заводе происходит, не знаю, зато могу описать образцы продукции. Речь о кожгалантереи. Конечно, в Москве или Ленинграде галантерею Осташковского кожевенного завода не встретишь, как не встретишь там же Селигеровского судака или щуку. Но я эту продукцию знаю хорошо, поскольку частенько приобретал. Купил, скажем, я в Осташковском магазине очечник маме. Купил и хорошо. Правда, кожа у вещицы не очень и теснение так себе, но штука сама по себе полезная, очки в нее влезают, и ладно. Ладно очечник. Очечник — маме, папе — кошелек. Вещи эти две похожие. Теснение, цвет, кожа — почти одинаковые. А с другой стороны — кнопочка на кошельке металлическая, надежная, деньги в него влезают самые разные, да срок годности приличный, пользуется кошельком папа не первый год… Выпускались заводом еще чехлы для ключей, бумажники, обложки для паспорта, еще чего-то, еще… Что сейчас творится на заводе, не имею понятия. То же, наверное, что и на рыбзаводе — малопонятное. Но рыбзаводу, как мне кажется, лучше. Рыбу все любят, тем более такую. Купят, значит, рыбу, как ни крути. С кошельками-очечниками все сложнее — конкуренция. О сложном не хочется. Поэтому помолчим… Помолчали — хватит. Продолжим. Начнем с домом, закончим улицами. Дома (начали уже) в Осташкове двух типов. Первые — большие, деревянные или каменные, купеческие. Красивые очень. Вторые — современные, блочные. Их в Осташкове теперь много… Среди каменных построек есть особенные. Я старые, купеческие дома имею в виду. Купец, как известно, купцу рознь, знак отличия — гильдия. Купцы гильдией повыше строили в Осташкове дома довольно большие, каменные, украшенные тематической лепниной. Сейчас в одном из них стоматологическая поликлиника, в другом — книжный магазин, в третьем… что-то расположено и в третьем. Если продолжить градостроительную тему дальше, сказать надо о сооружениях церковных. Сохранилось, сохранилось кое-что в районном Осташкове. В одном — какое-то с Лениным в названии ДК, в другом — краеведческий музей, в остальных — одном или двух — действующие церкви. Наиболее впечатляющий, на мой взгляд, из всех церковных ансамблей — краеведческий музей. Есть на что посмотреть. Раз так — поезжайте и посмотрите… Начали с домов — закончим улицами. Улица Ленина — ничего неожиданного. Она в Осташкове, как и в тысяче других городов, центральная — с аккуратными деревцами и самыми лучшими магазинами. Революционеру меньшего калибра, Константину Заслонову, тоже улица посвящена. Она, конечно, не такая широкая, как у Ленина, но автобусы по ней, случается, проезжают. Заслонову (он в Осташкове геройски подпольничал) даже памятник в натуральную величину поставлен. Есть, наверняка, в Осташкове еще подобные улицы, но я их названий припомнить не могу. Зато другие помню. Другие назову. Например, улицу 8 Марта. Правда-правда, я не шучу. Не первомайская какая-нибудь, а такая вот конкретная. Под прямым углом ее пересекает улица Спорта. Спорта вообще, в большом смысле этого слова. Рядом улица имени известного русского математика Магницкого. Магницкий был, по словам осташей (так жители города правильно называются), здесь проездом и вручал дипломы лучшим учащимся много лет назад. Улицы запомнились мне так хорошо не случайно. На пересечении двух — Спорта и Магницкого — я однажды рисовал старый, почти разрушенный купеческий дом. Рядом с левой стороны от него находился большой бревенчатый дом с цветными крепкими ставнями. Я писал акварелью, как вдруг со стороны соседнего дома меня окликнул женский голос. «Что Вы спросили?» — сразу же отозвался я и не совсем еще внимательно посмотрел на окошко с добротными ставнями. «Вы художник?» — спросила в окне девушка лет восемнадцати. «Да… пожалуй», — ответил я, и после этого она уже говорила без умолка. Пока я писал пейзаж, из окна дома до меня доносилась разнообразнейшая, как рыба в Селигере, информация. Я узнал, что девушка учится в медучилище, что в данный момент читает обожаемого Лескова, что папа у нее футбольный тренер, а дедушка бывший председатель горкома данного населенного пункта. Девушка, как мне показалось, была миловидной и очень разговорчивой — это ее свойство я связал с волнением и неспешно продолжал писать. Когда вид был закончен, я решил, что одного этюда мало, и последовал на другую сторону улицы. Я снова взялся за работу. Девушке я сказал, что покажу пейзаж через пару часов, поскольку видеть теперь меня из своего наблюдательного пункта, она не могла. Девушка, вероятно, очень хотела увидеть мой рисунок, потому что, не дождавшись срока, вышла из дома. Впрочем, следует оговориться. Дело в том, что при наличии вполне нормальной, скорее даже маленькой головы девушка обладала и всем остальным, никак с головой не сочетающимся. Да-да-да, жаль-жаль-жаль. Когда девушка протиснулась сквозь деревянную калитку на математическую улицу, я, точно по команде, закончил этюд и быстренько собрался. «Покажите, пожалуйста», — обратилась ко мне девушка, и я показал новый этюд. «Это прекрасно», — с придыханьицем произнесла девушка. В ответ я промолчал и вежливо попрощался. Сначала я пошел по улице Магницкого, на которой продолжала стоять могучая девушка, потом по улице Спорта, затем улицей 8 Марта вышел на улицу Ленина, сел в автобус и добрался до вокзала. На вокзале скоро появился рейсовый автобус, который через час с небольшим довез меня до деревни…

**А было время…**

А было время, когда провинции везло, помогали государственные средства — дотации.

Взять тот же Осташков — чистой, озерной воды провинцию, купеческий в прошлом городок. О прошлом Осташкова, впрочем, говорить непросто, потому что краеведческий музей все чаще закрыт, а двухэтажные деревянные дома черны, кособоки и густо населены некупцами.

Но в один прекрасный день краеведческий музей широко распахнул двери, а здание железнодорожного вокзала буквально в одночасье наполнилось громкоголосыми малярами.

К вокзалу городская администрация отнеслась наиболее серьезно. Руководство рассудило правильно: вокзал — ворота города, визитная, можно сказать, карточка. В результате усердных действий маляров и заезжего или местного оформителя зал ожидания вокзала чудесно преобразился. Появились красные пластмассовые стулья вместо неудобных деревянных лавок, на большой, без окон и дверей стене возникла красочная тематическая мозаика, между двух симметричных стенок неизвестный мастер разместил сюжеты флоры и фауны, а под самым потолком — монохромную панораму, герои которой рыбачили, жгли под гитару костер, путешествовали по озеру на водных лыжах и стреляли из ружей по жирным утицам.

Оформление зала ожидания, к слову сказать, на сем не закончилось. Фикусы в деревянных кадках, зеркала на стенах, телеграф, телефонные кабины, буфет — все эти объекты, не мешая друг другу, разместились в самом главном вокзальном помещении. Конечно, исправно работал ресторан, через каждые полчаса в поле зрения всех путешествующих возникал рыжий милицейский сержант, а стенд на стене в холле, в какое время на него ни глянь, разыскивал среднего возраста преступников…

Да что вокзал — старенький, желто-белый… Никто и глазом моргнуть не успел, как появился вокзал автобусный с гостиницей, залом ожидания и билетными кассами. Езжай с него на автобусах куда хочешь. Хочешь — в Калинин, Лихославль, Москву, наконец, — нет проблем. Можно и недалеко податься: до Сороки какой-нибудь или до какого-нибудь Охвата. Пожалуйста — в Щучье, Свапуще. А до того же Свапуща, между прочим, все еще продолжал медленно плыть настоящий речной пароходик с «Лизой Чайкиной» на боку.

Захотелось тебе детство вспомнить, песочное кольцо на палубе съесть — шпарь на речной вокзал, жди на вокзале «Лизу», плыви на «Чайкиной» по Селигеру, ешь на палубе кекс за шестнадцать копеек. Однако с появлением рейсового автобуса путь речной как-то сам собой отпал и даже забылся. А автобус есть автобус: быстро, удобно и ждать долго не надо, не то что «Лизу». На месте тракторист Никитин вместе с трактором встретит, вещи в кузов побросать поможет и тебя заодно подсадит. Смотришь, а над головой уже тракторный дымок вьется, цветочный лужок мимо проплывает. Ладно, того же Никитина взять. Ему за помощь — пряник, вернее, ватник военный, а то и колбаску вареную — жуткий дефицит. Всем от сотрудничества подобного хорошо. Ватник в конце концов и у тракториста Виноградова появился, и у тракториста Харитонова, даже у Митьки — деревенского пастуха. Хотя Митька этот лет тридцать назад побил маленького тогда дарителя за то, что тот не дал списать контрольную. Кто же знал, что отличник станет полковником и захочет купить на старости лет в деревне домик… Года, однако, минули, страсти — уж точно — улеглись, и вот Митька гонит коров в цвета правительственных елок шапке и новом, плохо пока гнущемся ватнике.

Да что ватники с шапками, мелочей-то сколько разных с собой везли! Взять хотя бы табачок и лекарства для Кольцовых. Сумка ведь целая набиралась. Зайдешь с ней к Кольцовым. Вот, говоришь, здесь все, что вы просили: нюхательный табак и лекарства. «Вот и хорошо. Вот и здорово!» — хором кричат старушки Кольцовы и тут же набивают табаком табакерки. Про лекарства между тем помнят, но пользуют только после того, как табачком надышатся. Зато как лекарства потом пьют — загляденье. Берет, скажем, тетя Лиза — старшая сестра — упаковочку, потрошит ее быстренько, достает желтую гладенькую таблеточку и говорит сестре: «Желтенькая». Желтеньких можно две — они от давления. «Можно и три», — поправляет младшая, тетя Паня, и, выхватив из рук сестры серебристую упаковочку, мигом съедает три «желтеньких». «А теперь синеньких, от сердца», — командует старшая Кольцова, пока сестра шумно глотает лекарство. «Да-да, теперь от сердца, от сердца — синенькие», — с удовольствием соглашается тетя Паня и теребит очень похожую на предыдущую упаковку. Выпив разноцветных лекарств, сестры хором произносят: «У нас вообще-то лекарства есть. Фельдшерица никогда в приобретении не отказывает». «Вот как?» — откликаешься тогда. Тут Кольцовы чувствуют тревогу. Кричат наперебой: «Да, нет… Хорошо, что привез… Правильно все… А вдруг завтра у фельдшерицы лекарство закончится? Что мы тогда пить будем?..».

Как сейчас таблетки эти помню: красивые, дешевые, сплошь венгерские или гэдээровские. И Кольцовых помню, даже запах табака, который они без конца нюхали. Помню старое сельпо с цветами в палисаднике. Помню, как в провинции стало хорошо и вместо старого сельпо построили новое — зеленое, довольно большое здание, быстро наполнившееся товаром. Хочешь черный стеганый ватничек — получи, желаешь синенький халатик — пожалуйста. Грабельки, лопаты, кастрюльки, масляные краски, брусника в сахаре, вино, водка. Однако все, что сейчас ни вспомнишь, меркнет перед джинсами «Тверь». Настоящие ведь джинсы были. Из итальянской ткани и фурнитуры изделие, и стоило недорого. Вот только с размерами, как говорится, негусто было.

Все, короче говоря, новый магазин любили и исправно в нем отоваривались. Нет резона скрывать, что особенно любили сельчане покупать в нем спиртное. Готовились сначала, конечно, денюжку копили. Зато потом, когда в кармане начинало звенеть, — тут уж…

Как ждала доярка Лида зрелости собственной коровки, как кормила ее, час этот приближая, а как выразительно говорила: «Корову продам — ух, попью!». И продавала в результате не корову, так свинью, и ух — пила тогда.

Мужики, естественно, водку предпочитали. Выпьют и тут же беседу заводят, и ведь не пустяковую какую-нибудь, а самую серьезную, жизненную. Взять хотя бы разговор тракториста Никитина с пастухом Митькой в доме старушек Кольцовых. Никитин: «Что, пасешь коров, Митька?». Митька: «Пасу, а что?». Никитин: «Да так, ничего. Только моя Лысеня все последнее время с ободранным выменем домой возвращается». Митька: «Так я тут при чем? За всеми коровами разве уследишь. Идут они сначала нормально. Вдруг одна ни с того ни с сего в сторону дернет, смотришь — за ней еще парочка увязалась. Пока потом их из леса или канавы выгонишь — полчаса пройдет». Никитин: «Причем здесь парочка коров и полчаса, если у Лысени вымя исцарапано?». Митька: «Не знаю. Вот ей-ей, не знаю». Никитин: «И я не знаю. Знаю только, что у Лысени вымя исцарапано…».

Такие мужики сплошь разговоры вели, а бывало, что и политические. В них, однако, Полковник верховодил, он тогда как раз с семьей у Кольцовых селился. Ловко тогда это у Полковника получалось. Зайдут, скажем, прения далеко, закричит вдруг тракторист Никитин пастуху Митьке: «Да я тебя сейчас!». Митька в ответ: «Да я тебя!». А Полковник тут как тут: «Нет, это я вам… водочки налью». Смотришь, и улеглись страсти: все сидят по лавочкам смирно, только Кольцовы носами шмыгают да табакерками гремят…

Не хочешь, не участвуй в той сцене. Кто тебе мешает, например, сходить к истоку великой русской реки Волги? Идти, между прочим, километров десять. Выйдешь из дома пораньше, к полудню уже на истоке — стоишь в домике резном, смотришь ключ, из темной лужицы бьющий. Это и есть исток, на воротцах при входе в домик так и написано: «Здесь берет начало великая русская река Волга». А на камне, который поодаль, так и вовсе что-то проникновенное начертано: «Остановись, путник!». Ну, чем не проникновенное начало? Чуть ли не «Замри!». Замрешь у камешка этого, глянешь по сторонам — благодать! Рядом с благодатью — церковь восьмиглавая жестью глаз режет, как табакерки Кольцовых. Подойдешь к храму поближе, красный кирпичик ощупаешь, в дверцу сунешься — а как же. Внутри, к слову, не так интересно — работы только начались: белят, штукатурят — музей реки Волги делать, говорят, будут.

Выйдешь из храма-музея, на белый свет посмотришь, кругом — благодать. Рядом с благодатью — магазин. Зайдешь в него — а как же: пряники купишь, очечник местного кожзавода маме приобретешь, кошелек, вылитый очечник, — папе. И назад. Идешь, пылишь кедами с мячиком на щиколотке, по сторонам смотришь: бабочки, идол-старец с указателем: «До истока один километр»… Бабочек рассмотреть не успеешь, глядь — снова старец: «До истока два километра». Деды, в общем, сплошные — и бабочки. Бабочки — и не только: автобусы с туристами к истоку катят. Автобусов, между прочим, не меньше старцев с указателями — штук пятнадцать обязательно насчитаешь.

Дома по возвращении — свежие шаньги, на сковородке — подлещики, в блюдце — малина, в небе — звено истребителей…

Сейчас все не так. Мир изменился.

Кресла, конечно, в зале ожидания те же — красные, то есть и вполне комфортные. Однако мозаика на стене заметно поредела, выцвела тематическая панорама, исчез буфет, завял фикус, помолодела на реечном стенде преступность. Грустно.

Сидишь грустный в зале ожидания, рядом старичок какой-то неухоженный кемарит, вдалеке у зеркала — дядька со спиртом «Рояль» возится. Смотришь — дядька уже рядом со старичком, спирт тому предлагает. Глядишь — дедок уже стаканчик в руку взял, уже ко рту бескровному тянет и… медицинскую помощь требует. Странно, чего вдруг? Дядька ведь уже до этого тоже спирт пробовал, и баба его в искусственной шубе, и еще пара человек в зале ожидания. Все живы, здоровы, веселы.

А мне грустно. Умерли старушки Кольцовы, подлещик что ни лето — болеет солитером, третий год не плодоносит малина. А звено истребителей? Где звено? Куда девалось звено?

**Алиса**

С кем в городе ни поговоришь — у всех на даче или в деревне друзья, прямо уйма веселых и верных товарищей. А у меня никого. Я что — рыжий? А с другой стороны, может и ладно… без друзей как-нибудь, ведь месяц всего в деревне без них. Ведь с братом же, с сестрой, с папой, с мамой. Мама так вообще заявила как-то: «Не смей водиться с местными!». «А с Алисой?» — спросил я маму. «С Алисой, пожалуй, можно. Алисе ты должен отдать книги», — ответила мама, а я взял книжки в руки. Я отнес их Алисе, и сказал спасибо, и снова попросил книг, которые тотчас получил, и поэтому опять сказал Алисе спасибо…

В то лето мне Алиса нравилась, начала, вернее, нравиться. Трудно сказать определенно чем, но чем-то она меня очень даже привлекала. Интересно, что же особенного было в этой пионерского возраста девчонке. Она ведь не ходила по пыльной дороге в пионерской (белый верх, черный низ) форме, не читала речевок, не загадывала загадок, вообще младше меня была на год, в третьем классе училась пигалица. Однако… нравилась. Нравился ее пестренький, похожий на взрослый халатик, ровные, как у куклы ножки, не совсем русская и, наверное, поэтому забавная физиономия. А как Алиса смело себя вела? Смело спрашивала, смело отвечала, смело переругивалась с тетками, смело мыла посуду, даже корову доила (ходили и такие слухи), наверное, очень смело. Стоило тогда, конечно, о корове разузнать подробнее: тех же Кольцовых порасспрашивать или осмелиться и тетку Алисину спросить. Обратиться, например, к тетке так: «Скажите, любезная, доила ли ваша племянница Алиса вашу корову Лысеню? И если доила, то хорошо ли это у нее получалось?». Но не спросил и сейчас поэтому гадаю. Но хоть посуду-то мыла? Мыла. Сам видел и беседу, помнится, вел. Вполне, между прочим, может быть, что именно тогда рядом с посудой первый раз Алису встретил и познакомился ближе. А может, и нет. Может, действительно, мама нас познакомила. Мама сказала: «Алиса — это Дима. Дай, пожалуйста, Диме книжек». Что было дальше, все знают — Алиса дала Диме книжек. Речь, впрочем, о другом. Разговор о посуде и Алисе рядом. Удивительно, как она, такая маленькая, справлялась с таким количеством немытой посуды? И ведь сама, небось, тащила ее к мосткам, верно, несколько заходов делала… Чего только на мостках тогда не стояло: горшок один, горшок второй, горшок третий, уйма тарелок, гора чашек, куча ложек, башня кастрюль и… Алиса. Вернее, Алиса сидела на корточках. По смуглым Алисиных коленям блуждал солнечный луч и божья коровка, которая не знала, что ей делать на необычной поверхности дальше. Я аккуратно взял насекомое, посадил на палец, дождался, пока улетит, и обратился к Алисе: «Тебе с посудой помочь?». «Не надо, — ответила Алиса. — Я сама». «Сама, так сама», — сказал я про себя и опустился на корточки. И тут прямо на мостки с Алисой и посудой из моего кармана выпал небольшой, складной ножик. «Откуда?» — громко спросила Алиса скорее ножик, чем меня. «Нашел вот», — ответил я вместо ножика. Тогда Алиса обратилась ко мне, требуя подробностей находки, я рассказал все очень подробно. «Ну да, я так и знала», — как-то легко откликнулась на мой рассказ Алиса и добавила: «Я как раз так его потеряла». «И что с того?» — почувствовав, что на находку посягают, сказал я. «А с того, что нож не мой, а брата, и если я ему его не верну, он меня поколотит». После этих слов вся Алисина решимость куда-то подевалась и она расплакалась. «Не плачь, пожалуйста», — сказал я и отдал девочке ножик — сверкающий, как рыба-плотва… Так я помог Алисе. Я и с посудой, кстати сказать, помог. После ножичка Алиса мне это позволила. Настроение после всей этой истории у меня было прекрасное, честное слово, намного лучше настроения предыдущего. А старенькие сестры Кольцовы мне его взяли и испортили. Сестры Кольцовы взяли и сказали: «Обманула тебя Алиска. Ничего она не теряла». Искренне так все это сказали, что я поверил и расстроился. Старушки между тем не унимались. Они нюхали табак, звенели древними табакерками и сквозь чихи лепетали: «Враль она — Алиска эта… Не дружи с вралью… С Алиской этой… Понюхай лучше с нами табачку». И я нюхал и чихал, как Кольцовы, ничуть не хуже…

В общем, с Алисой мы больше не виделись. Может, конечно, и виделись, но, словно сговорившись, друг с другом не здоровались. Я-то ладно, я был определенным образом Кольцовыми настроен. А Алиса? Кто ее настраивал? Может Кольцовы? Может быть. Кольцовы все могут. Они и все следующее лето ехидничали: «Что сидишь, Димка, рыбу не ловишь? Алиска-то вот лещей уже накоптила». «Каких лещей? Как накоптила?» — с испугом спрашиваешь Кольцовых. «Да так, накоптила вот», — отзываются старушки хором. «Пойду, посмотрю», — говорю я и шагаю к двери. «Димка, да мы пошутили», — сквозь табакерочный звон доносится до меня…

И все-таки очень скоро я с Алисой столкнулся. Где это произошло, не помню. Может быть на озере, может быть в лесу… Или она просто-напросто мимо проходила и «здравствуй» сказала. Или я мимо проходил и «здравствуй» сказал. И чего не пройти, как не встретиться, если жила Алиса у тетки — ближайшей соседки Кольцовых. Поздоровались мы с Алисой, поболтали и впредь решили, несмотря ни на что и ни на кого, общаться. Алиса немного изменилась, выросла, конечно, стала заплетать косу. Почему бы с таким вот милым созданием не дружить, спрашивается. И спрашивать нечего — дружить надо, в игры играть, плавать учиться. Но Кольцовы тут как тут. Заметьте, Кольцовы — не мама. Мама на наши отношения с Алисой и прошлым с ножичком летом смотрела сквозь пальцы. Всё Кольцовы. Они — табачные души — всё. Снова дело — дружбу испортили… Раз зашла Алиса за мной, а я на кровати лежу, грущу после обеда. В самый момент, получается, зашла. «Диму можно», — говорит, к Кольцовым обращаясь. «Нельзя», — отвечают Кольцовы дружно. «И не смей больше с ним знаться», — хором продолжают. А я как в рот воды набрал, лежу на кровати с набалдашниками и грущу пуще прежнего. И хоть была Алиса смелым человеком, хоть доила Лысеню, но тут на пороге прямо спасовала и резко развернувшись, вышла. Бросился ли я к Алисе вслед? Нет, не бросился. Накричал ли на Кольцовых? Нет, не накричал. Извинился ли за себя, опять же за Кольцовых? Опять же не извинился. Словом, в то лето наши отношения с Алисой оборвались… Потом Алиса в деревню то ли не приезжала, то ли приезжала, но селилась у второй своей тетки в другой деревне, то ли у первой тетки останавливалась, а меня в этот момент у Кольцовых не было… запутался совсем. Не видел я, короче говоря, Алису, наверное, лет пять, но вспоминал часто. Спрашивал у Кольцовых за табачком, мол, как там Алиса? И слышал, что Алиса живет по-прежнему с родителями в Калинине, что доставляет им беспокойство, потому как связалась с неважной компанией. Что ни та, ни другая тетка принимать ее на лето не желают, а вот отца ее — татарина по национальности — принимают с удовольствием. Но вдруг вскоре после моих расспросов вместо папы татарина в деревню пожаловала Алиса и поселилась у второй тетки в соседней с нашей деревне. Почему там, не знаю. Знаю, что и со второй теткой отношения у Алисы не ладились. Вероятно, взрослая уже Алиса не так старательно помогала тетке по хозяйству, предпочитая его — хозяйство — танцам в клубе или чему-нибудь еще, похожему на танцы по духу. И встреча наша с Алисой, по-моему, совсем не вышла. Представьте: поднимаюсь я с братом Колькой по обрыву, рядом дерево ветвистое, картофельный надел Кольцовых и вдруг ба — Алиса — щеки красные, зубы белые, глаза бешеные, штаны тренировочные. «Здрасти», — растерянно говорю я, и брат тоже от той же наверное растерянности вслед за мной пищит: «Здрасти». А Алиса эта распаренно-бешеная вместо приветствия вдруг громко спрашивает: «Тут где-нибудь спрятаться можно?». Мы с братом тут как тут — на дерево пальцами указывая, хором говорим: «На него полезай. Там лестница — по ней на первый сук заберешься». И ведь пример показали, не были, так сказать, голословны. Залезли на дерево, в общем, быстренько, сразу же почти слезли и смотрим, что же теперь Алиса делать будет. А тетки ее тем временем уже вдалеке показались. Кричат, прутьями машут. Ясное дело — проштрафилась опять в чем-то племянница. «Лезь, давай!» — кричим мы с братом Алисе. «Хорошо, что я “тянучки” сегодня надела», — отвечает Алиса и ловко карабкается на дерево. Только «тянучки» мы и видели. Штаны то есть тренировочные. Она их так странно называла. Спряталась на дереве Алиса, переждала минут пятнадцать, пока тетки из вида не скрылись, потом слезла и говорит брату: «Зря ты Колька “тянучки” не носишь». Сказала так и поспешила домой к одной из теток. Они ведь совсем в другую, с клубом и танцами деревню направились…

Удивительно, несмотря на такую нелепую встречу, я к Алисе хуже относиться не стал, наоборот даже. А раз наоборот — то не в «тянучках» ее снова увидеть захотелось. У меня, к слову сказать, в тот раз с собой хорошие вещицы были взяты. Брюки, например, польские серые. Футболка махровая «блэк хорс». Опять же краски, кисточки, стульчик рыболовный складной. Вот как-то на стульчике этом сижу, живописую, одет, правда, в «тянучки» — работа ведь не совсем чистая. Сижу, творю. Вдруг ба — Алиса: «Ну, как дела?». «Да ничего». «Рисуешь?» «Рисую». «Молодец». «Ерунда. Ты молодец. Ловко от теток сбежала, лихо в “тянучках” на дерево вскарабкалась». «Нет, ты молодец». «Нет не я, а ты от теток сбежала. Подожди меня здесь, я сейчас», — сказал так, собрал свои вещи и пошел в дом. Там, конечно, надел брюки с футболкой и снова к Алисе… Поболтали мы с Алисой тогда хорошо, мне понравилось, и вечером решили снова встретиться. И ведь встретились. Не так, как хотелось бы, конечно, но в этом я сам виноват. Разве ж можно на лавке под окнами старушек Кольцовых свидание назначать? Но что сделано, то сделано. Пришла Алиса на свидание, села на лавку, семечки достала, разговор завела. И тут… нет, не Кольцовы, а брат. «Здрасти», — пищит с порога. Алиса мне: «Ну я, пожалуй, пойду». Я: «Постой, я тебя провожу». Брат: «Я с вами». Алиса: «Никому не надо меня провожать». Я: «Нет, надо». Брат: «Да, надо»… Таким приблизительно образом разговор наш начался и очень быстро закончился. Ушла Алиса домой одна, потому что решила так, наперекор и мне, и моему брату, и Кольцовым, ознаменовавших появление в окошке своего дома звоном табакерок и каким-то особенным, прямо настораживающим чихом…

С тех пор я Алису не видел, но узнавал из писем, что в деревне она появлялась, что каталась с воем по деревне, и мотоциклист, который ее катал, бил другого, делавшего то же самое накануне. Еще мама мне писала, что Алису стало не узнать, что на лице у нее косметика, а «в душе не пойми что». Потом, когда я вернулся со службы домой и появился летом в деревне, Кольцовы, стукнув табакерками громко, как литаврами, как всегда дружно произнесли: «Женилась Алиска. Теперь ее в деревню никакими калачами не заманишь». И точно. Больше Алиска в деревне не появлялась, больше я ее не видел… А ведь так хотел с ней подружиться. Никто ведь не скажет, что не хотел. Уверен просто, с кем ни поговоришь об этом — каждый поймет и поддержит. Ну не вышло, ну бывает…

**Катя**

Как Катя рвалась в деревню?! Изо всех сил — вот как. Костюм хлопчатобумажный, турецкий даже купила. В костюме и рвалась, потому что так примерно говорила: «Возьми меня в деревню. У меня и костюм подходящий есть…». На костюме Катя буквально настаивала, наряд служил чуть ли не поводом для поездки. А я не хотел ехать с Катей в деревню, и костюм здесь был не при чем. Я боялся. Я вообще боялся Кати. Самые разные мысли бродили в моей голове, мешаясь с турецким Катиным костюмом, с Катиными надеждами, страхами, многим чем еще, и «нет», — говорил я Кате. Катя плакала. Черная тушь стекала по ее щекам. Катя спотыкалась и сдирала с новых красных туфель краску. «Я напишу тебе письмо», — испуганно говорил я Кате, притворно внимательно рассматривая царапину на туфельке. «У тебя есть красный несмываемый фломастер?» — слегка успокоившись, спрашивала Катя. «Есть», — отвечал я. «Принеси, пожалуйста, я закрашу», — просила Катя. «Принесу», — отвечал я…

Я уезжал в деревню один и обещал Кате писать. Катя уезжала в летний студенческий лагерь и обещала писать тоже. Все так и вышло. Я писал Кате: «…Катенька, я неудобно сижу в красной, как твои туфли, лодке и забрасываю, забрасываю удочку. Раз я забрасываю удочку — значит рыбу я все-таки ловлю. Мне это нравится. Рыбалка — ведь вид охоты. Все-таки людям нравится охотиться, как нравилось охотиться нашим очень далеким предшественникам. Мы все генетически немножко охотники. И ты тоже, представь…».

Катя писала из летнего лагеря: «Я отдыхаю в поселке Высоцк — том самом, в котором очень давно, в детстве была вместе с папой. Кое-что из того отдыха мне запомнилось, и сейчас интересно узнавать прошлые места и местечки. Что касается охоты и охотников — то философствуете вы, сударь, неудачно…».

Я на Катю за «сударя» не обиделся. Я снова писал Кате: «…Катя, так хорошо, что ты ответила. Здорово просто. Я сгорел на солнце. Сгорел, сгорел. Поэтому покраснел, как рак, и теперь всё, что, как рак покраснело, — болит. Болит, болит. Но я мужаюсь. Я помогаю соседу Толе заготавливать сено, потому его отец — дед Семен — вывихнул ногу. Сидит теперь дед на лавке, курит “Любительские”. Так-то…».

Катя ответила уже не из Высоцкого лагеря, а из дома, вернее, пригородной дачи: «…Разве можно писать о том, что и как у тебя болит. Не пиши больше. И при чем здесь “Любительские”. Мне это знать неинтересно. И поймал ли ты леща, которого без конца мне обещал?..».

Я увидел письмо, строчки которого воспроизвел, издалека. Оно стояло прислоненным к пеньку рядом с нашим домом и ослепительно белело. Было очень жарко. Я возвращался с купания. На моем лбу рекламно сверкали капли. И вдруг — письмо, и «жду леща», и «не смей женщине жаловаться»… Боль, конечно, меня моментально оставила, но лещ… Лещ в озере не ловился. Ну разве напишешь Кате: «Катя, погода стоит жаркая. Озеро “цветет”, то есть на глазах прямо покрывается какой-то, потому что забыло, что такое волны…».

«При чем здесь волны», — возмутится в данном случае Катя, и правильно сделает. Лови, раз обещал! Но что ни говори — погода к рыбной ловле не располагала. И тут меня выручил папа. Папа взял и… леща выловил. Причем не с лодки, а с берега, с первой даже попытки. О папином подвиге я промолчал и написал неправду: «Катя! Я поймал леща. Это удивительно — ведь рыба сейчас, ввиду жаркой погоды, не клюет. А тут такая удача, такой лещ! И все случилось удивительно быстро. Я забросил удочку, подождал, пока поднимется поплавок, поправил на голове солнцезащитную кепку и вдруг… Кричи, Катя, вслед за мной “Клюет!”. Клюнул лещ “правильно”! Клюнул согласно рекомендации автора рыболовной рубрики газеты “Сельская жизнь” с фамилией (Катя, прости) Катькин. Поплавок слегка нагнулся, медленно пошел, а как только скрылся под водой, я подсек и потянул… Лещ особенного сопротивления не оказал. Глотнув воздуха, он стал беспомощным, как муляж, и проявил признаки жизни только после того, как оказался на песке. Лещ был не очень большой, но и не очень маленький. Катя, прости, но лещ оказался сопливым. Катя, но я его тщательно вымыл, вытер полотенцем и засолил в здоровой капустной кастрюле. Поверх рыбины я положил посылочную, фанерную дощечку с моим ленинградским адресом и большой камень — гнет, если быть по-капустному точным. Теперь мне можно к тебе возвращаться. Я выезжаю 2 августа в общем вагоне пассажирского поезда. До свидания, Катя»

Катя могла не отвечать, но она взяла и ответила. «Не приезжай 3 августа. Нет, можешь, конечно, и приехать. Но в этом случае ты меня в городе не застанешь. Меня не будет ни дома, ни на даче, а где… я пока тебе не скажу… Про леща хорошо. Про полотенце и какого-то еще Катькина — плохо. И вообще, о рыбной ловле в твоих письмах — слишком много. Напиши лучше о том, что мы будем делать осенью. Ведь так больше нельзя… Я плачу. Я в слезах исчезаю. Хочешь — приезжай. Хочешь — пиши. Пиши потому, что дома изредка появляться буду. Не рыбачь, пожалуйста, а рисуй. Ведь у тебя это должно получаться. Я помню рисунки, которые ты мне присылал. Помню твое акварельно-прозрачное, чуть зеленоватое лицо, фиолетовую почему-то, а не черную матросскую шинель и странные предметы вокруг. Я извиняюсь, раз вышло сейчас вспомнить, за то, что не приехала тогда к тебе. Я не могу этого объяснить, да и ни к чему, сейчас мне кажется. Я ложусь в больницу. Ты найдешь меня там. Ищи больницу или пиши письмо. Делай, что хочешь. Я ничего не знаю. Катя».

Не знаю, почему, но 3 августа я домой не вернулся. Я стал рисовать — Катя просила — и писать письмо. Я клал в него травинки. «…Катя, это тебе, — писал я, — это травинка, делай с ней, что хочешь. Ты хотела, чтобы я рисовал — писал акварелью. Так вот — я пишу: чужие баньки, свои лодки и полуразрушенную церковь. Слезы капают на мои пейзажи, и я не знаю, чьи они, на самом деле. Может, они твои? Может, ты здесь, за моей спиной, стоишь и плачешь? Почему ты не в больнице? И вообще, почему ты должна там находиться? Ты пишешь, у тебя “невроз”. Я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, как надо любить, чтобы не было невроза, чтобы не болела голова и не хотелось спать в семь часов вечера… Как хорошо было по тебе скучать (тогда это было синонимом слову “любить”). Как красиво было скучать, как приятно было себя жалеть. А как было здорово, что ты тогда ко мне в фиолетовой (ни в коем случае не черной) шинели не приехала. “У, плохая”, — только и оставалось сказать и снова жалеть, скучать… Сейчас все иначе и труднее. Писать письма легче, чем писать акварелью… Катя, у меня борода и редкие усы. Да и борода, признаться, неважная. Противные (с рыжинкой, естественно) усы, с бородой никак не связаны. Это значит, что между усами и бородой существует ничем не занятое пространство кожи. Представляешь — отдельно борода и отдельно усы. Фу — гадость. Все равно, пока тебя не увижу, я ее и их не сбрею. Где мне тебя искать? Невроз лечат в клинике на Васильевском острове. Я узнал. От нее до набережной — два шага. Два шага вдоль трамвайных путей. Потом газон с коротенькими деревцами, полоска асфальта, гранит набережной. Потом еще одна полоса, потом река Нева — холодный нерв города. Невроз… Ты, наверное, уйдешь в академический отпуск… Я возвращаюсь. Найду тебя в городе, в клинике. Я куплю тебе персики и самые вкусные шоколадные конфеты. Целую».

Так примерно все было. Туфли сначала, красный фломастер, письма, сомнения и загадки… Надо было взять Катю в деревню? Может быть.

**Наташа**

Он позвал ее в деревню весной. Именно весной, когда неясно, то ли тепло, то ли не очень. Весной, когда непонятно, то ли надеть, то ли снять шапку. Она ответила уклончиво и поправила на голове пестрый, шерстяной берет. На улице, по которой они прогуливались, запахло свежими огурцами, и он решил почему-то, что в деревню они обязательно съездят… Неделю спустя он получил из ее маленьких рук письмо со стихами. Стихи были «белые». В них он оказывался «хорошим и правдивым», у него была «большая и теплая спина». А ее в послании терзали сомнения, она не знала, зачем «ангел» преподносит ей такие «подарки… Не знаю, что с ними поделать, в какой уголок их поставить». Стихи обнадеживали, хотя понятными были мало… Последнее время она часто рассказывала про своего близкого знакомого, очень творческого и, кажется, наркомана. Он возникал в ее разговорах всегда окруженный какой-то мучительной тайной. В конце концов из ее рассказа он узнал, что того уже нет в городе, что он вернулся в свой маленький, провинциальный город и в нем счастливо женился. «Наверное, он хотел этого всегда», — печально говорила она и суетливо закуривала. «Он жил здесь», — неожиданно продолжала она и указывала пальчиком не старинное трехэтажное здание. «Вот видишь — забрели. Никак от него не отделаться». А он молчал. Тогда она начинала злиться: «Все молчишь. Все я говорю». Он пожимал плечами и охлопывал карманы в поисках спичек. Он закуривал и таким образом брал в разговоре отсрочку. А она, подхлестнутая и его молчанием, и обстановкой вокруг, продолжала надрывно: «Он лежал за городом, в наркологической больнице. Я ездила к нему. Он вел себя непонятно и страшно. И вот однажды, когда я возвращалась от него и шла мимо вокзального туалета…». Он готовился избавиться от коротенького окурка. Несмотря на то, что реакция его ей явно не понравилась, она закончила: «…И вот в туалете на кафельном полу я увидела цветы, живые цветы. Ты только представь! Нет, ты не можешь себе этого представить! Ты хороший и правильный!». Последнюю реплику она произнесла очень громко. Он съежился и снова закурил…

Он много курил той весной и только однажды неловко ее поцеловал. Следующий после их разговора месяц он перестал искать с ней встречи. Тогда же появились советчики, буквально настаивающие порвать с ней отношения и оставить идею с поездкой. Выяснилось даже, что она поделилась с одной их общей знакомой его предложением ехать и сказала капризно: «Зачем я поеду с ним в эту деревню, если все равно его брошу»…

Они случайно встретились в ее институте. Она стояла в коридоре рядом с аудиторией в черном костюмчике, туфлях на сантиметровом каблучке и смотрела на него своими чудными синими глазами. «Ну что, мы едем, в конце концов?» — не поздоровавшись, спросила она. «Едем. Я за билетами. Позвони мне вечером». Он купил билеты. Она позвонила. На вокзал его провожала мама. Он протестовал, но та настояла: «Я имею право знать, кого ты туда тащишь. Знакомить нас не надо. Я посмотрю на нее со стороны». «Только осторожно. Очень тебя прошу», — умоляюще сказал он матери, когда они вышли из метро.

В этот день у него был день рождения. В купе он открыл шампанское и разлил его по стаканам. «Ты что?» — удивленно спросила она. «У меня день рождения. Ты забыла?» «Я думала, завтра», — спокойно ответила она…

Осташков он назвал в ее честь Наташков. Он сочинил каламбур накануне и произнес его сейчас с выражением. Однако с ее стороны никакой реакции не последовало. Дальше ему ехать расхотелось…

Она не поздоровалась с деревенской бабкой Тоней, ее облаяла собака, а к дому она подошла с выражением болезни на лице. Отец тащил длинное бревно от разобранного сарая. «Папа, познакомься. Эта девушка не боится мышей», — сказал он и натужно улыбнулся. Она толкнула его под руку: «Представь меня нормально». Они прошли в дом поставить вещи. Тотчас отец позвал его на улицу, за дом, где буйно цвели овощи и ровным, словно для прыжков предназначенным прямоугольником, зеленела клубника. Отец ждал похвалы…

За столом его поздравили снова. Пили водку, потом курили на крыльце. Потом она спала с дороги. Потом спали все… Он проснулся раньше обычного и захотел написать письмо матери. Ему сильно этого захотелось. Еще вечером, когда все засыпали, мысль о матери, ее тревожное любопытство тронула его. Отвратительной казалась его реакция. Зачем он отчитывал ее дома, в вагоне метро, даже на эскалаторе, кажется… Она осторожно постучала в его комнатку и непринужденно спросила: «Ну, что? Мы едем на рыбалку?» «Плывем», — бодро отозвался он и поднялся с кровати… Она поймала две маленьких, в пол-ладони рыбки. Он не поймал ничего. Она снова спала после обеда, а после читала толстую публицистическую книжку. Вечером они поплыли на небольшой островок с называнием Городище, где были одни деревья. Они пристали к нему скоро и решили исследовать. Она отыскала большое дерево и, прижавшись к мощному стволу, спросила: «Знаешь, что я чувствую?». «Не знаю… Ума не приложу». «Что ты вообще знаешь? Я чувствую то-о-ки-и». «Ах, токи…» Они вернулись к лодке. На обратном пути она сказала, что все ленинградцы похожи на кувшинки, потому что у них тонкие шеи и растерянные глаза. Потом она попросила покрутить лодку на одном месте. Он сразу же выполнил просьбу, и тогда она спросила, что он при этом испытывает. Вместо ответа он закурил, а она заговорила о рыжем болгарине, с которым училась в одной группе: «Он, конечно, бабник, но не противный и очень, очень умный». Еще она вспомнила, что говорил болгарин о женщинах и мужчинах. А он вспомнил, как слышал от приятеля про венерическую болезнь болгарина. Приятель вроде бы встретил того в диспансере. Но он снова промолчал. «Вот видишь, мы стали с тобой большими друзьями», — сказала она, когда лодка пристала к песчаному берегу. Они направились к разрушенной церкви и вскоре оказались под ее грязными облупившимися сводами. «Полезли на крышу. Видишь — винтовая лестница?!» — предложил он. На крыше, скорее земляной, чем железной, росла рябина. Ей захотелось проникнуть в купол. Для этого следовало пролезть в довольно узкое, длиной метра в полтора отверстие. Она отпрянула в сторону и сказала, чтобы он лез первым, потому что если первой будет она, «он непременно будет за ней сзади подсматривать»…

Утром она снова позвала его на рыбалку. Она поймала крошечную уклейку, а он снова не поймал ничего. После завтрака она спала и по-детски сопела во сне простуженным носом. Потом она читала книжку под телевизионный гул съезда. Знаменито-опальный академик рассказывал невероятные вещи. В перерыве показывали добрый фильм про дрессировщика-любителя… Вечером они решили попытать счастья на лесном озере. Он поймал окуня. Она ловить рыбу не стала. На озере они были недолго. «Комары. Уйдем», — сказал она…

Утром она стучала в крашеную дверь его комнаты: «Идем. Ну, идем же в лес». На поле, рядом с лесом, ей вдруг захотелось позагорать. «Прошу мне не мешать». «Не буду. Свистни, когда надоест». Они разошлись в разные стороны. Спустя несколько минут он сидел на здоровом дереве и рассматривал кору. Кора была крупной, рельефной. Из каждого ее фрагмента (он сразу почему-то об этом подумал) могла получиться лодка, наподобие той, которую в детстве без устали мастерили, кругля и ровняя о бетон или асфальт. Внезапно на коринку приземлился красный, невероятно усатый жук. «Пожарник», — вслух сказал он. Улетать жук не собирался, плавно шевеля одним лихо изогнутым усом, пожарник медленно продвигался вперед. Неожиданно путь ему преградил жук с иссиня-черной ровной спиной. Жуки не двигались. Они замерли на месте, словно не были живыми. Вдруг раздался звук, который вполне мог издать ударившийся о поверхность дерева камешек, и он увидел уже позабытого майского жука. Потом прилетел еще один непонятной породы жук, и вся компания задвигалась. Жуки ходили по кругу, выстроившись друг за другом, как цирковые борцы. Он так увлекся зрелищем, что не заметил, как прошло время… Ее на месте не оказалось. Он напугался: «Вдруг она пойдет к дому и заблудится? Вообще, почему она не позвала, не свистнула». Он побежал и скоро заметил ее маленькую фигурку. Он нагнал ее… Парад жуков ей не понравился. После обеда они должны были уезжать.

В ресторане они съели один на двоих огуречно-помидоровый салат и гуляли потом неподалеку от вокзала. Она благодарила его за терпение и говорила, что ему еще обязательно повезет…

Проводник отчего-то не стал никого, в том числе и себя, будить. Они проснулись, когда поезд замер на Московском вокзале. Она скрутила постель, достала из сумки большую расческу и с силой расчесалась. В метро они расстались. Ей предстояло еще встретить маму и сходить вечером в театр: «Такая у нас с ней традиция».

Летом они не виделись. Осенью у нее были «очень личные неприятности». Двое молодых людей (до этого, вроде, их столько не было) оказались «жуткими негодяями». Одного, который появился недавно, он знал. Мужчина ему не нравился. Не нравилось, что он позерски, нарушая запрет, курил в раздевалке физкультурной кафедры, что там же подолгу рассматривал свои ноги, что без конца таскал в творческий вуз ракетку, отдавая дань непроходящей моде на большой теннис. Она хотела «надежного, чтоб укрыться можно было». Весной так говорила, а осенью познакомилась и — пожалуйста — негодяй вслед за первым. А был ли первый весной? К первому она тоже обращалась за помощью. «Жизнь прекрасна», — сказала она и в никакую Москву не уехала. Она не могла съездить туда всего за сутки. А ведь с ее слов именно в Москве предстояло обратиться к медикам. Нет, он увидел ее через двое суток, а не через одни. Значения это не имело. Видимо, все обошлось…

Глупо все. Вот жуки, особенно один — майский, забытый, как молодая мама, папа с первыми фруктами в портфеле. Жуки на корабликовом дереве. Майские жуки на Финском заливе… Фильм про укротителя. Еще ее глаза, сирень рядом и все… глупо.

**Письмо Алине**

Здравствуй, Алина. Я пишу тебе письмо из деревни. Здесь хорошо. В деревне — не в поезде. В поезде было холодно и шумно. Нашелся, как водится, разговорчивый пассажир, нашлись пожилые слушатели. Говорун начал с семейного положения и тут же завопили двое его детей, требуя лимонада и печенья. Накормив чад, папа подробно рассказал о работе, жене и жилплощади. И тут мне стало холодно. Я поднял воротник старомодного (рукав реглан) плаща и зашевелил ногами в кооперативных ботинках с всадником на бляшках. К этому моменту разговорчивый уже вспоминал военную службу (без нее никак) и говорил о боевом корабле, на котором служил срочную. Ветераны (таковыми в основном оказались пассажиры) слушали и усердно кивали головами. Информации о корабле хватило до станции Бологое. Только после того, как поезд двинулся с места, говорун затих, ощупал стриженые головки детишек и глубже втиснулся в кресло… Я уснул и проснулся за двадцать минут до нужной станции. Я вышел на платформу вслед за говоруном с его невыспавшимися детьми. На автобусном вокзале я купил билет и через полтора часа попробовал уснуть уже в рейсовом автобусе. Автобус подбрасывало на ухабах, и тогда моя голова с рельефом дерматиновой ручки на щеке срывалась вниз. Я просыпался, но по прошествии нескольких минут засыпал снова. Я не ударился ни разу, хотя моя голова еще не раз слетала с ненадежного упора. Я благополучно добрался и вот: «Здравствуй, Алина. Я пишу тебе письмо из деревни. Здесь хорошо. Хорошо вообще и тепло в частности. Деревенские сушат сено и ходят за ягодами. Я, как обещал, на следующий же день отправился в лес. Тебе нужна черника? Ведь так? Она нужна тебе очень. Спелая крупная черника в собственном соку, в стеклянной банке… Ух, как я устал в лесу. Ах, чернику побило морозом. Кто бы мог подумать, что собирать ее окажется так сложно. Я собирал ягоды шесть часов без отдыха. Мне было жаль есть редкую эту ягоду. Я не съел ни капельки, вернее, ни ягодки, и сейчас банка с ней стоит на холодильнике и подмигивает бликом. Я не ропщу, я горд — ведь обещание исполнено — банка с черникой высится на холодильнике внутри нашего маленького дома. Может, мне следует сейчас же пообещать тебе что-нибудь еще? Копченую щуку, например. Взять и пообещать. Пообещать и утром выловить. Выловить и закоптить. Ешь, Алина, щуку. Пеки с черникой пироги… Я не обещал тебе щуку, но выловил тут как-то. Выловил и закоптил. Закоптил и съел вместе с домашними и домашним животным — котом, которого мне отдала, пристально при этом глядя, одна старушка с Васильевского острова. Старушка истерично любила кошек, имела собственную в возрасте кису и регулярно отдавала в “хорошие” (помогал пристальный взгляд) руки котят. Когда я взял одного, она вышла проводить меня до лифта и сказала чуть слышно: “До свидания, Дмитрий Юльевич”, хотя я Юрьевич. Вот. Щуки больше нет. Черника после того, как я побывал в лесу, исчезла тоже. Зато поспела малина. Я иду за ней, насвистывая редкий марш…

Хорошо собирать ягоды. Сначала, конечно, трудно, да и потом, когда бидон не целый — тоже. Зато когда у бидона “горка”, а над головой чистое небо — хорошо… Здесь хорошо. Я пишу тебе письмо, Алина. Ты пьешь гомеопатические таблетки в красивом старинном доме? Пей. Гомеопатия сейчас снова в моде. Разноцветные шарики. Я только не знаю, можно ли эти шарики грызть или сосать вместе с остальными тремя, четырьмя, пятью… Как их правильно пить? Здорово, наверное, греметь во рту шариками, как горошинами. Здорово. Точно. И наверное…

Представляешь, меня послушались лошади на скотном дворе. Быть может, лошади на самом деле только напугались? Дело было так. Я шел в магазин с клетчатой сумкой в левой любимой руке, когда из огромных дверей скотного двора мне навстречу вышли разноцветные, как гомеопатические шарики, лошади. У них были связаны передние ноги. Однако обстоятельство это их не остановило, потому как решительно лошади двинулись в мою сторону. Тогда я закричал громко-громко: “А ну, на место!”. Лошади послушались, вернулись на скотный двор, а я купил в местном магазинчике бутылку винного апперетива и сувенирный пряник круглой формы. Я не пью спиртного и купил винный апперетив из-за старомодного названия. Не просто ведь апперетив, не коротко ведь — вино, а замысловато, ВИННЫЙ АППЕРЕТИВ. Сам я пью молоко из-под коровы БАРЫНИ, а до этого пил молоко из-под коровы ЛЫСЕНИ. Иногда мне случается пить воду из родника или ключа (не знаю, как правильно). Я пью и нахваливаю: “Хороша водица! Не то, что винный апперетив!”… После апперетива чего только не померещиться. Например, Ваське, одному из местных жителей, с пьяных, разумеется, глаз почудилось, что топор — частная папина собственность — его и только. Мол, отец похитил его немыслимым образом. Васька подошел к папе близко-близко и ласково-ласково спросил: “Юрушка, родной мой, зачем же ты топор мой украл?”. Так вот вкрадчиво начал, но потом резко сорвался на мат. Топор Ваське мы, разумеется, не отдали. Через пять минут Васька направился к своему дому ни с чем. А ведь как начал, как начал…

Пить надо парное молоко, родниковую воду, чай, кофе с бальзамом, винный апперитив (зачем же купил его, спрашивается)… Только что в окне продефилировал фермер в кожаной модной куртке. Говорят, что он бывший капитан дальнего плавания, не брезговавший контрабандой. А по лицу не скажешь. Хитрое лицо — это да. Но не бандитское, вернее, контрабандитское. Бородка аккуратная у фермера, острый нос, синие, ясные глаза, кожаная куртка, о которой уже было… Неприятности — умерла бабка Василиса. Знахаркой была бабуленька и вот — померла. И вот — в неблизкий медпункт очереди за лекарствами… Вчера к нам в гости зашел тракторист Осипов и сказал, что он колдун и знахарь не хуже Василисы. Он однажды утопил в нужный час, в нужном месте в крутом кипятке черного кота и теперь обладает таинственной и могучей силой… Василису Осипову не заменить, мне так кажется. Мне кажется, что после моего письма мы долго не увидимся. Наверное, хорошо быть малознакомыми и изредка обмениваться письмами. Мне нравится писать тебе письмо. Мешает только блик на банке, которая стоит на крышке холодильника. Нить потихоньку разматывается. До банки с черникой я здоровался с тобой. “Здравствуй, Алина”, — так я писал, кажется. Но до этого ведь я писал о дороге, чувствуя, что захочется написать что-нибудь еще. Сейчас я воспользуюсь этим моим приростком к повествованию. Я попрощаюсь с тобой сейчас. Ты слышишь? Я прощаюсь: “До свидания, Алина”».

**«Напоследок»**

Вот решил, что к Новому году с рассказами о деревне, прямо как с бандформированиями в правительственных решениях, будет покончено. Чего решил — сам не знаю. Может стопка их глаз порадовала, может передохнуть от них захотелось, Может и официальное что-то, вроде подведения итогов, точку ставить сподвигло. Вот решил, и ничего теперь не поделать. Надо писать. Пишу. На днях, перед самым Новым годом, папа с самого утра отправился в магазин за яблоками. Сначала не собирался как будто, вечером во всяком случае, но утром, вспомнив рекомендации врачей побольше двигаться, сорвался с тремя тысячами в кармане за не особо нужной, в общем-то, покупкой. Конечно, тысяч в папином кармане прежде было больше (купить следовало еще творог и сметану), но мама посчитала, что ему доверять подобную покупку нельзя, взяла часть денег, и папа поспешил в магазин только за яблоками с такими вот тысячами. И мама, недаром она выхватывала из папиных рук тысячи, тоже. «Я в город», — с порога крикнула мама и устремилась на трамвайную остановку. За маму сразу же стало неспокойно. На улицах, по которым шла мама, было скользко и плохо ходил транспорт. Так про транспорт сказал только что вернувшийся с яблоками папа. Еще папа протянул мне яблоко и замер, ожидая результата дегустации. Я кусил яблоко, тщательно его пожевал, медленно проглотил и не сказал папе ни слова. Тогда папа спросил: «Сладкое?». «Нет», — ответил я папе честно. Тогда папа снова спросил: «Кислое?». «И не кислое», — так же честно ответил я. «А какое?» Я пожал плечами. «Не говори о яблоках маме», — попросил папа и ушел в гостиную. Вскоре раздался телефонный звонок, и сестра в трубке спросила: «Как дела?». Я рассказал сестре о делах все-все-все, то есть поведал о подозрительных яблоках и твороге со сметаной, утверждать о которых что-либо определенное было трудно по причине их отсутствия. «Понятно», — сказала сестра, а я спросил, собирается ли она с семьей к нам на Новый год. Сестра ответила мне, что еще неизвестно. Тут я спросил сестру: «Ты будешь пить сегодня на работе игристое вино?». Но она промолчала, и я спросил снова: «Ты будешь, конечно, работать, но совмещать труд с употреблением легких игристых вин». На что сестра оживилась так, словно не слышала об игристых винах первого вопроса, и звонким голосом откликнулась: «Вполне может быть». Потом мы с сестрою попрощались и из магазина вместе с творогом и сметаной пришла мама. Потом пришел с работы брат и рассказал, как провожал на вокзал выпившего лишнего накануне вечером коллегу. Коллегу в рассказе брата было жаль. Началось у того все с того, что в присутствии брата он выпил артистическую (шампанское плюс коньяк) смесь, но потом удалился в комнату с многозначительным названием «диспетчерская» и выпил там совсем другое, то есть не шампанское с коньяком. После диспетчерской он потерял над собой всякую власть, а на самом деле обыкновенную твердь под ногами, упал поэтому и мгновенно уснул на ковровой дорожке. Не рассчитавшего сил сотрудника подняли, ощупали бока, проверили пульс, поправили брючину и отвезли на такси к начальнику, заранее проинформированному о происшествии. Потом наступила ночь, потом утро, в течение которого брат заехал на работу с ковровой дорожкой, забрал подарки, навестил начальника с протрезвевшим подчиненным, отвел последнего на вокзал и усадил в электричку. Домой коллега отправился с праздничными свертками и заплывшим глазом. Как у коллеги заплыл глаз, брат по возвращении с вокзала объяснял подробно. Потом брат ел суп из бульонного кубика, а радио сообщало о том, что снова, в четвертый раз за месяц (радио умеет считать) дорожает бензин, и это неприятный подарок (радио умеет шутит) к Новому году… Доев суп, брат сказал, что сейчас позвонит товарищу, поскольку тот собирается на Новый Год в поселок Коммунар, где нет связи. Товарищ — не коллега. Коллега живет на станции Сиверская. Там у него два разных дома. Один — деревянный, двухэтажный и старый, другой — блочный, пятиэтажный. Где коллега будет залечивать травму, неизвестно. Может быть в этом ему поможет сестра — врач по профессии. Я тоже ел суп из бульонного кубика, а мама ела творог, который сама же принесла из большого и скользкого города, и жаловалась на зятя. Еще мама вспоминала про собаку зятя породы боксер и говорила про нее и зятя очень абстрактно: «Не дело это»… А о деревне ни слова. А собака боксер однажды там была. В деревне пес произвел на всех впечатление, благоприятным которое никак не назовешь. Митька-пастух, например, пообещал схватить боксера за ноги и бросить в озеро. Но Митька этого не сделал, и никто другой не сделал тоже. Собака особенно запомнилась одной нашей соседке. Она назвала морду боксера «страшным лицом» и даже усомнилась в собачьем происхождении животного… С тех пор пес в деревню не ездил…

Брат позвонил товарищу, но не застал дома и решил, что тот в поселке Коммунар и нигде больше. По телевизору, пока брат звонил, шел старый и очень хороший фильм «Два капитана». Племянник под присмотром маминого зятя успешно закончил четверть и рассчитывает на подарок за… Не хочется о деньгах. Тем временем брат улегся спать, и очень хороший фильм закончился. Зато вскоре начался другой, про джунгли и туземцев с лицами, как у собаки-боксера. Папа смотрел новый фильм так, как будто не кончался первый, — «Два капитана». А мама сидела в кресле и читала газету… А о деревне ни слова. Но скоро туда отправится папа. Он отвезет трактористу Никитину резиновые сапоги и лекарства его жене Рите. В деревне папа будет жить целую неделю. Там он наверняка станет рыбачить, накапливать рыбу в двух сразу холодильниках и складывать ее потом в полиэтиленовые мешки. Рыбу в мешках папа перед самым отъездом засунет в рюкзак. Еще в деревне папа почитает детективы и попьет, если так можно после «почитает» выразиться, спиртное сложного, как детектив, содержания. Выпивать вместе с папой будет его давний товарищ тракторист Никитин и может быть кто-нибудь еще. В деревню папа поедет после Рождества, а до Рождества будет Новый год, к которому каждый из нас по-своему приготовился.

1995–2018 гг.

**Бабушка сердится**

С чего вообще бабушка взяла, что на старый Новый год мы собрались всем семейством и за праздничным столом шумно отметили не очень-то важный праздник. Бабушка несколько раз в течение месяца звонила и настойчиво добивалась от нас, вернее от того, кто с ней беседовал, подробностей не случившегося на самом деле действа.

Мы не собирались на старый Новый год — правда. День этот ничем, по-моему, не отличался в нашем распорядке от всех предыдущих. Утром мы, кажется, в два захода (сначала родители, потом я с братом) позавтракали, потом пообедали, а ужинать кто-то из нас и вовсе не стал. А бабушка по телефону все напирала: «Марина с мужем и Лешкой приходили. Ведь так? Мама, наверное, постаралась — что-нибудь сготовила и испекла. Мужчины выпивали…». Еще бабушка говорила, что подобный сбор обязательное мероприятие, скрывать которое ни в коем случае не следует, что нужно было на следующий же после празднества день ей, плохо передвигающейся, позвонить и обстоятельно обо всем поведать. Бабушка не выспрашивала — в том-то и дело. Она объяснялась с нами по телефону голосом следователя, никак не меньше. Наши объяснения на бабушку абсолютно не действовали. Пробовали все: я, папа, мама, даже брат, оказавшийся однажды от телефона поблизости.

Интересно, с каждым новым звонком бабушка верила в истинность своих предположений все больше. В конце концов мы отчаялись что-либо доказать родственнику и стали строить телефонные разговоры по такой примерно схеме: «Что-то как будто было… Ну да, праздник старого Нового года… Ужинали… Шампанского и чего покрепче не пили… Марина обещала прийти, но не смогла — задержалась на работе». Трудно сказать, убедительно ли звучали для бабушки наши объяснения. Скорее всего нет, так как бабушкин тон в зеленой телефонной трубке продолжал оставаться прежним, нервно-сердитым. Мы не обижались на бабушку за это. Мы — это я, папа, брат, сестра в чужой квартире. Что касается мамы, для которой бабушка являлась свекровью… Признаться, мне не хочется об этом писать. Маму, как и бабушку, переубедить в чем-либо было трудно, хотя она и соглашалась с моими несложными выводами. А говорил я приблизительно следующее: «Мама, бабушка старенькая, соображает плохо. Вспомни, как часто она заговаривалась в последнее время. Ведь она несколько раз на дню произносила одни те же вещи, которые, между прочим, столь же часто говорила все последние годы. Ты вспомни, мама! Вспомни, как важно было для бабушки оказаться за праздничным столом, как часто она за ним оказывалась еще недавно, а бабушкин прекрасный аппетит не только на съестное, но и на спиртное. “Налейте коньячку!” — это же бабушкина, ставшая крылатой фраза. Много лет праздничные мероприятия составляли огромную часть ее жизни. Ты же сама не уставала говорить, что бабушка не пропустит ни одного дня рождения, ни единого праздника. Не стоит, мама, на бабушку обижаться. Для нее сейчас очень важно, что у родственников, а не в Кремле, есть большой, яствами уставленный стол, гости: мужчины, которые курят, женщины, которые шепчутся. Ведь так, мама?».

И мама во всем со мной соглашалась, но потом отчего-то снова очень громко рассказывала бабушке, как все было на самом деле. После подобного разговора случалась ставшая уже привычной ссора, и бабушка вместе с мамой обвиняли друг друга в нежелании слушать.

По мере приближения весны сокращалось и количество бабушкиных звонков. Весной она снова упала в своей однокомнатной кооперативной квартире и сильно ушибла ногу. К бабушке зачастил отец. Несколько раз ее навещали я и сестра Марина. Во время наших визитов темы зимнего застолья бабушка, по вполне понятным причинам, не касалась. Если она звонила, то интересовалась, благополучно ли мы добрались до дома, потом спрашивала, кто и когда к ней приедет, и вежливо прощалась.

К середине лета бабушкины синяки зажили окончательно, и она заметно приободрилась. Бабушка снова стала нам звонить, и хотя характер бесед отличался от прошлых, зимних, чувствовалось, что она готовится и готовит других, в данном случае меня, к порядочно забытой теме. Догадаться об этом было несложно. Бабушка все чаще интересовалась количеством и качеством употребляемой мной пищи, частотой визитов друзей и знакомых. Однажды она припомнила свежепридуманный государственный праздник и даже поздравила меня с ним. Сомнений не было, бабушку снова интересовали подробности нашего несостоявшегося застолья, и я решил, наконец, соврать ей как следует, то есть гастрономически точно. Когда бабушка в очередной раз позвонила, я снял трубку, полный решимости. После того, как бабушка поздоровалась, я заговорил: «Бабушка, мне давно хотелось тебе сказать, да я все не решался… Ведь ты была совершенно права — мы собрались на старый Новый год всем нашим семейством. Был муж Марины Коля… Что касается стола, то он был не настолько хорош, как прежде… Коньяка, как будто, не было, зато Марина принесла шампанское, шпроты, лечо, а мама пожарила курицу и испекла торт “Башня”… М-да… Было-было… Покуривали на кухне, а как же. Немножко, конечно, ведь папе нельзя… Посидели неплохо, в десятом часу разошлись. Отметили, так сказать, праздничек…».

Бабушка, выслушала мою непродолжительную речь, ни разу не прервав. Только после того, как я закончил, она легко вздохнула и почти ласково произнесла: «Ну, вот видишь — я оказалась права. Зачем только нужно было столько времени меня обманывать. Ты же прекрасно знаешь, как я этого не люблю. Вот, помню, когда я работала в Пассаже…» — тут бабушка в тысячный, как мне кажется, раз поведала историю, содержание которой к данному повествованию не имеет никакого значения.

**Все Кости — «костыли»**

У моего приятеля была трудная юность, из которой он вынес много нового, включая слова и даже целые выражения. Их приятель сохранил почти в первозданной красе и нет-нет, во взрослую уже пору, любил с выражением произнести. Например, недавно, когда я встретил его и спросил, чем он сейчас занимается, то услышал:

— Да так… тру шкуру с одним «кренделем».

— Это как? — заинтересованно спросил я товарища.

— Да, помогаю тут, с одним делом…

— А кому? Как звать… «кренделя»? — не унимался я.

— «Костылем» — неожиданно и также по-кренделевски непонятно ответил мне товарищ.

— А что, есть такое имя? — с улыбкой спросил я и выжидательно посмотрел на товарища.

— Да ты не понял, Костей звать человека этого.

— Тогда почему «Костыль»?

— А все Кости — «Костыли»! — подвел в разговоре черту товарищ, и я, удовлетворенный объяснениям, стал с ним прощаться.

— Ну, давай, позванивай и подгребай в гости, — сказал он мне на прощание.

— Хорошо, подгребу, — ответил я и перешел на другую сторону.

С тротуара я обернулся и увидел товарища, спешащего на автобус. До дома я добрался благополучно и как только открыл дверь, услышал телефонный звонок.

— Привет, — сказала мне сестра, когда я снял трубку.

— Привет, — ответил я сестре. — Как отдохнула? — спросил я ее вслед за приветом.

— Нормально, — не меняя интонации, ответила сестра.

Нормально она побывала в деревне, в домике, который лет десять назад купил наш отец и теперь каждое лето ждал семейство на отдых. Сестра отправилась в деревню после почти полуторогодовой интенсивной работы, уставшей и осунувшейся. И хотя трудилась она в коммерческом банке и более чем достойно получала за усталость, на отдых сестра отправилась все-таки… осунувшейся.

Прежде, чем ехать в деревню, сестра испытала противоречивые чувства, касающиеся правильности своего выбора, потому что коллеги, не колеблясь, рванули не в деревни. Однако именно там, в тверской комариной глуши, вместе с бабушкой и дедушкой отдыхал ее сынуля, и материнский долг, как говорится, возобладал… В деревне оказалось очень жарко. Сестра спешила укрыться от палящего солнца в избушечный тенек с немыслимым количеством мух. Еще сестра купалась и ходила в лес за ягодами. Об этом она довольно подробно писала мне в письме…

— Как родители? Как отпрыск? Черна ли черника? — засыпал я сестру вопросами.

— Нормально, — снова ответила она.

— Черна ли? — спросил я снова.

— Черна, — чуть сердито ответила сестра, не заметив в вопросе шуточного оттенка.

— Что-то ты сердита или расстроена?

— Сонна, — ответила сестра и поспешила продолжить: — Я тут тебе кое-что привезла. Если хочешь забрать — подгребай.

Услышав последнее слово, я вздрогнул, вспомнил трудную юность товарища и благополучное настоящее сестры. Еще я вспомнил «Кренделя» и «Костыля» в одном лице и обратился к сестре с вопросом:

— Как ты сказала?

— Подгребай. Хочешь сейчас, хочешь вечером.

— Все Кости — «Костыли!! — ответил я тоном, каким обычно называют в кинофильмах пароль.

— Что-что? — удивленно спросила сестра.

— Говорю, картошку дочищу и заеду.

**Мама плохо ест**

Сестра вернулась из деревни с рюкзаком, сумкой, картонной коробкой, привязанной к тележке, и при встрече сказала: «Мама плохо ест». Конечно, сестра не сразу с этого начала. Она позвонила сначала и своим обычным, чуть нервным голосом, пропела: «Приветик. Как твои дела?». Я ответил сестре «приветиком с хорошими делами» и договорился о встрече, чтобы забрать предназначавшуюся мне коробку на тележке. При встрече выяснилось более подробно, что в отличие от папы, мама неважно ест. «Мама плохо ест», — озабоченно произнесла сестра и выпроводила меня из густонаселенной квартиры. «Мама плохо ест, мама плохо ест», — твердил я себе под нос и катил тележку с коробкой. «Почему мама плохо ест?» — мучился вопросом я и катил тележку дальше.

Дома я открыл коробку и обнаружил в ней судака, щуку, лук, салат, петрушку и что-то еще, среднее между петрушкой и салатом. Провизию я сложил в холодильник и снова подумал о том, почему все же плохо ест мама в тихой тверской деревеньке. Почему она не ест рыбу? Судака, например, очень вкусного и не часто попадающего в наши и чужие сети. Странно, ведь мама любила рыбу особенно. Она единственная могла справиться с рыбьей, скажем, головой, от которой другие домочадцы спешили избавиться. Мама действительно любила рыбу очень. Ее она прекрасно готовила. Из щуки, например, делала котлеты и даже пироги. Она и сейчас, по словам сестры, продолжала все это с ней проделывать, но вот ела потом… плохо. Честно говоря, хорошо, много мама не ела никогда, но в деревне… Из деревни мама приезжала в город, беспокойно ощупывала живот и доставала просторную, как раз «к животу», юбку. Да-да-да. В деревне мама ела, не хорошо может быть, но и никак не плохо. Нет-нет-нет. Кое-что она ела очень хорошо, скажем, творог со сметаной. Их, кстати, мама и обвиняла в причинах нежелательной, на ее взгляд, полноты… Творог мама делала сама. Молоко для творога брали у соседки Риты, а позже, когда та повысила цену, у Паши из соседней деревни. Молоко, к слову сказать, мама тоже любила и, конечно, пила. «Пью молоко кружками», — в письме ко мне признавалась она. Творог со сметаной — объедение, кто спорит? Молоко, сметана, творог… Неужели и их мама плохо ест? Неужели? Сестра при встрече сказала, что с творогом она пекла маме ватрушку, но даже к такому замечательному кулинарному творению мама отнеслась спокойно, то есть съела маленький кусочек, и только. Но хоть маленький — поела, значит, плохо, правда… Еще сестра сказала, что у мамы были случаи расстройства желудка. Это вполне возможно. Так бывает, после того, как выпьешь сырой местной водицы. Какой бы целебной та ни была, все равно не кипяченая. Опять же молоко коровье. Его кипятить надо. Я, например, парное молоко уже несколько лет не пью. Кипяченое — пожалуйста, а вот парное — нет. И воду ключевую, между прочим, тоже. А мама? Мама, видимо, и то, и другое пьет. Пьет, жалуется на желудок и плохо в результате ест. Или не поэтому? Или по другим, особенным каким-то причинам мама неважно кушает? Например? Например, проснется мама утром от жары и мух, увидит рядом немытую физиономию внука, вспомнит, почему она — физиономия — чумазая, и… завтракать не захочет. А обедать? В обед внук как заорет: «Почему лук в щучьих котлетах?». Или, если котлет немного, каждому по штучке только выходит, завопит еще громче: «Котлеты с пятачок. Жарьте новые, со сковородку». До этого руки мыть откажется, штаны переодевать, зубы чистить… Беда, в общем, и есть не хочется… Папа тоже. Папе курить нельзя, а он курит. «Юра, у тебя же язва», — скажет с выражением мама. «Я одну штучку», — ответит папа и шмыгнет за поленницу со штучкой во рту и пачкой в кармане… А засуха в огороде? А черника, которая в этом году почти не уродилась? А малина, которая не уродится тоже, если не будет дождя? А местные алкаши, клянчущие без конца на бутыку? А бутыль папы с американским спиртом, который, по словам мамы, и не спирт вовсе… Много, короче говоря, у мамы причин есть плохо, и каждая серьезная, веская. Из-за каждой настроение может испортиться и аппетит пропасть.

Все равно, приедет из деревни мама, спрошу ее обязательно… Нет, не сразу спрошу. Встречу на вокзале сначала, вещи из рук выхвачу, в щеку чмокну и… в метро. Из метро — на трамвай. Из трамвая — к дому. Вот дома я у мамы и спрошу, глядя в глаза пристально: «Мама, ответь мне, пожалуйста, почему ты все лето плохо ела?». Посмотрим тогда, послушаем вернее, что она мне на это ответит.

**Помечтаем**

Он сидел за столом и мечтал. «Хорошо бы…» — говорил он про себя и тер рукой глаз. «Хорошо бы… на военные сборы съездить», — неожиданно для себя обозначил он направление будущей мысли. «…на сборы. Летом, наверное, лучше всего. Куда-нибудь в лесотундру с чистыми, промысловыми озерцами и начальником — не занудой»… Ну, разве это мечта — на сборы под началом, счастливой летней порой. Для многих подумать о подобной перспективе — страшно. А тут… Мечта. Да и на сборы сейчас никто не ездит, тем более не летает. Военачальники стремительно увольняются и спешно открывают продуктовые магазины… Ну а вдруг? Не вдруг, а вполне законно, один его товарищ чуть ли не под конвоем отбыл как раз туда — к первозданной красоте и промысловой рыбе. Товарищ там сразу возглавил отделение и стал командовать… рыбалкой. В подчинении приятеля оказался даже какой-то бывший зек — молчун и чифирист. Приятель рассказывал, как тот готовил зелье с помощью обыкновенного вафельного полотенца. Жаль, детали действа вылетели из головы… Пил, в общем, бандюга чифирек, а остальные рыбачили. У остальных клевало и домой они возвращались с добычей, которую меняли у проводника на водку… Промысловые, лосось… «Рыбачить, в принципе, необязательно. Лето — дело другое. Лето нужно, и природа с озерцом — тоже», — тут он сам оборвал мысль встречным вопросом: «А пути? Пути воплощения затеи?». «Ресница, конечно!» — парировал он словно не им высказанный вопрос. «Подать мне ресницу! Где она? На каком глазу?.. Ну вот», — последние два слова он воскликнул с досадой, потому что увидел на белом форматном листке собственную ресницу. «Чего это? Она же не волос на голове», — он снова потянул руку к левому глазу и принялся его тереть, как совсем недавно. Он тер и мечтал дальше…

«Хорошо бы… взлететь, как во сне… или, как во сне, сесть на обыкновенный трамвай, доехать до далекого, заполярного города, увидеть в городе ее и… и ничего особенного. Увидеть, разумеется, можно. Узнать ее новый адрес, подкараулить из магазина и бочком-бочком с растерянным видом и цветочками. “Здравствуй”, — уже не бочком сказать и заглянуть в ее лицо. “Ты чего, с луны свалился?” “Нет, на трамвае приехал”. “Не смешно”, — скажет она и…» Нет, лучше наоборот все. Она, скажем, приехала бы или проездом оказалась в его уже городе. Оказалась и позвонила. Позвонила и сказала красивым нервным голосом: «Здравствуй». «Здравствуй», — ответил бы он, и она поняла, что он ее узнал. «Ты где?» — поспешил бы продолжить он. «Здесь недалеко. Вот, проездом. Детей к маме отвезла…» Договорились бы, конечно, о встрече. Встретились бы. Она приехала бы к нему домой в голубой юбке с рекламой автомобильных свечей на кармане, и он понял бы, что совсем за шесть лет ее позабыл, что совсем иначе ее представлял и… почему она не в голубой юбке с рекламой на кармане. Но приехала. Пусть забытая, пусть не в юбке, не в пиджаке, который он тоже помнил. Приехала, и хорошо… Хорошо выпить шампанского, съесть сладкий фрукт. Здорово, что приехала, и вспоминать ничего не надо. В самом деле, причем здесь юбка какая-то, какой-то пиджак. Вот платье! Он так и не запомнил, как называлась материя, из которой оно было сшито. Называлась материя совсем, наверное, просто. Мягкая ткань на вид и ощупь была. Словно бархатная, но не бархатная. Как будто плюшевая… Салатового цвета с коричневым оттенком платье и никакого разреза. Ворот — термин снова не вспомнить. Приталенное еще. К платью она всегда надевала ремень. Ремень обручем охватывал талию. Он о талии кричал. В платье с талией в ремне она вспоминалась чаще всего… Она все время вспоминалась то в платье, то в юбке с рекламой автомобильных свечей на кармане, которую купил с какой-то халтуры ее муж… Все это хорошо. Замечательно даже, но «если бы. Если бы»… А может, не получится ничего: не заговорится, не вспомнится, не выпьется даже… А с другой стороны — можно и самому приехать в северный город и увидеть ее издалека. Посмотреть вслед прямой спине, и хватит, и достаточно… Но хочется оказаться рядом. Хочется, чтобы позвонила и сказала красивым, нервным голосом: «Здравствуй»… Мысли оборвались снова. «Ресницу мне, живо!» — сказал он и, подвинувшись к стеклу серванта, продолжил: «Правый глаз, нижнее веко… Черта с два. Нет ничего!» — раздосадованно сказал он после непродолжительного осмотра своего отражения. Оказавшись на прежнем месте, он сразу опустил голову. На белом листке тонюсеньким, едва различимым завитком лежала еще одна ресница. «Ну, напасть! Вот сговор!» — прошипел он и дунул на ресницу, которая моментально затерялась на письменном столе… Теперь он мечтательно рассматривал портьеру и снова тер глаз рукой. «Хорошо бы… Хорошо бы отыскать в ящике стола старую детскую игрушку. «Тещин язык», скажем, или мотоциклиста со смещенным специально центром тяжести и гоняющего поэтому все время по кругу, а не по прямой. Их — мотоциклистов — в детстве было два: большой и маленький. Мотоциклисты были красно-оранжевые. Они носились по кругу, жужжа, как взбешенные осы… А «тещин язык»… Как называлась та игрушка на самом деле? Может, «длинный язык», или «удивительный язык», или вовсе не язык, а какая-нибудь «веселая лента». Не механической игрушка была — точно. Дуть нужно было в специальную, коротенькую трубочку, приклеенную к ткани языка или ленты. Воздух проникал в герметичную полость, и язык плавно расправлялся… Хорошие были в детстве игрушки… Красивыми были отпечатки маминых каблуков на горячем рядом с домом асфальте. Ведь это ее были отпечатки? Вернее, ее туфель? Она еще тогда, на старой квартире в этом созналась. Или мама обманывала? Узнала, как он часто рассматривал отпечатки тех каблуков. И чего он, правда, их разглядывал? Те оттиски каблучков размером с десятикопеечную монету? …Шарманка еще была. Маленькая, формой напоминающая барабан и с ручкой на боку. Шарманка с «комаринской». Шарманка, между прочим, оказалась среди прочих игрушек самой стойкой. Она ушла из его детского мира последней. Впрочем… Впрочем, оставалась еще труба — калейдоскоп с мельчайшими цветными стеклышками внутри. Покрутишь трубу в руках и увидишь новый абсолютно симметричный узор. Да-да, труба была последней. Она существовала еще во времена военных сборов и платья из неизвестного материала. Трубой все закончилось. Труда — дело. Каламбур заставил его усмехнуться и прервать мечтание. «Где же ты, закорючка-волос? Дай на тебя посмотреть», — обратился он к невидимой реснице снова. «Левый глаз, верхнее веко!» — тоном бильярдиста сказал он и, не слезая со стула, потянулся к серванту. Ресницу он опять не обнаружил, зато увидел свое растерянное отражение с красным, слегка оплывшим левым глазом. «С чего бы это?» — сосредоточился он на новом для себя открытии. «И чего вдруг?» — снова сказал он и опустил голову. Он увидел ресницу почти на том же месте, что и две предыдущие. На листке, в правом нижнем углу, без сомнения, лежала его собственная ресница. «Это слишком! Это уже какая-то экология. Многовато за час», — речитативом произнес он и липко оторвал руку от письменного стола. Он поднес ее к левому глазу медленно, словно над чем-то размышляя, и стал тереть весь глаз, оба века сразу. Он делал это, как прежде, машинально, и зрячим правым глазом рассматривал цветастую портьеру. Неожиданно он повернул голову в сторону, словно обернувшись на чей-то оклик. Он всего лишь мотнул головой в сторону стеклянного серванта, но этого движения оказалось достаточно, чтобы увидеть руку, скрытый за ней глаз, глаз правый, сосредоточенный. И он понял тогда, откуда взялись на бумаге ресницы. Это он сам, в буквальном смысле слова собственноручно, заставил их раньше срока оставить покрасневшее веко и приземлиться на лист бумаги. «А желания?.. Они прекрасны и, как правило, несбыточны».

**Не пишется**

Он сел на банкетку, со стуком опустил локти на письменный стол и взял из консервной баночки с изображением кукурузы ручку. Ею он чиркнул единицу на белом форматном листке, грустно посмотрел на магнитофонную пыль и решил, что сейчас обязательно что-нибудь напишет. Но вместо этого он стал рисовать маленькие, разнополые фигурки в плащах и шляпах. После того как с изображениями было покончено, он с интересом отметил, что женских фигурок оказалось больше, чем мужских, и нарисовал свое собственное изображение, которому очень хотелось помочь. Ему, выглядевшему не столь обреченно, захотелось нарисовать что-нибудь еще. Для осуществления нового замысла он отыскал на бумаге свободный участок и моментально изобразил на нем холм, церковь и что-то плохо различимое, наподобие леса. «Не пишется… зато рисуется или… читается». Фраза помогла ему выбрать новое занятие, и он взял в руки газету.

Газета сообщала о большом метеорите, названном в честь обнаруживших его лет десять назад ученых «Шумейкер-Леви». Метеорит в газете обрушивался на планету Юпитер не целиком, а десятками осколков, каждый из которых весил очень-очень много. Земля (заметка писала и об этом) подобного столкновения могла и не выдержать, а вот Юпитер… Юпитер перенес метеоритный дождик как ни в чем ни бывало. Юпитер большой. А маленьким, земным астрономам повезло и не повезло одновременно. Повезло — потому что не часто такое горе с чужими планетами случается, а не повезло — потому что вызванные столкновением с осколками взрывы видеть можно было только в Африке, и то какой-то определенной. Конечно, кто мог из астрономов, туда рванул, но остальные… Остальным повезло меньше, хотя все равно повезло.

Кроме космического, газета сообщала и о вполне земном, вернее, морском событии. Некий советский пароход или танкер ошвартовался у родимых берегов и подвергся таможенному досмотру. В результате в каюте двух матросов были обнаружены туземки — самые настоящие новозеландские или занзибарские женщины. Матросы их то ли украли, то ли наоборот — законно взяли в жены. Заметка напомнила ему исторически недавнюю аналогию.

В начале восьмидесятых матросы части, в которой он оказался несколько лет спустя, вывезли по взаимному согласию в связистском специальном кунге из поселка, где проходили учения, нормальных совершенно дам, благополучно доставили тех до части, заперли вместе с машинами в боксах и ночью навещали. Благодать, однако, длилась недолго: матросов вскоре выследил дежурный мичман и… Барышень, кстати, вывезли из поселка называвшегося не хуже занзибарского. Пушное — так, кажется, он назывался… «Не пишется. Да и с чего, если час обеденный», — придумал он новый спасительный повод и отправился в кухню.

В кухне он поставил на плиту сковородку с курицей и засунул в рот большую сливу. Он старательно обсасывал сливовую косточку, и когда она легла на его узкую ладонь, минуту или две изучал ее внешний вид. За косточку цеплялся смешной, ворсистый хвостик. Он подошел к окну и бросил кость в открытую форточку. Вместо звука приземления до него донесся характерный треск сготовившейся курицы. Он положил кусочек на тарелку и стал есть. Он обсасывал куриные кости и косточки с почти сливовой тщательностью, и поэтому выложенные на тарелку куриные останки смотрелись как древние археологические черепки или лишенные нитяной основы части языческого украшения. Удовлетворенный наблюдениями, он снова закинул в рот сливу, и как только язык почувствовал шершавую поверхность косточки, выплюнул в окно. На этот раз он проследил полет полностью. В нем не было ничего примечательного. Щелкая, косточка несколько раз коснулась листвы, потом стукнулась о ветку и, резко изменив направление, ткнулась в землю рядом с парадным. Не получив достаточных впечатлений от сливовых виражей, он посмотрел дальше и увидел детскую горку с сидящей на ней старухой. Старуха загорала. Она сидела на верхней площадке, с которой зимой стартуют дети, распластав по скату толстые ножки, и хватала из атмосферы ультрафиолет. Кроме ног старушка подставляла солнцу голые по плечи руки, сразу очень много шеи и лицо. В отличие от нее, темноволосая женщина столь рьяно загара не желала, а прогуливала невзрачного, черношерстного пуделька. Рассказывали, что дамочка эта не ест никакого мяса, нигде не работает и чувствует себя превосходно. Дама (он отметил это не сегодня) не только чувствовала, но и выглядела. Обычно она появлялась под окнами в тренировочных штанах и коротенькой розовой куртке. Рядом с темноволосой прохаживалась молоденькая девица из соседнего парадного. Девчонка закончила какой-то средний класс и, оказавшись на каникулах, сосредоточила все силы на дворняге, которую в данный момент расчесывала гребнем. О своих волосах девчонка заботилась тоже: они переливались на солнце, подобно лосинам, в которые была одета школьница.

«Нет, не пишется», — вновь буркнул он и направился в комнату, где сразу же обнаружил банку краски с очень трудным названием. Краска была токсичная, огнеопасная и вдобавок ко всему защитная. На этикетке значилось косо: «Для дома, для семьи» и внизу меленько: «Беречь от детей!». Надпись представляла собой неразрешимый конфликт. Он решил отнести краску на балкон, и когда открыл дверь, почувствовал сильный порыв ветра. В соседней комнате спустя мгновение хлопнула форточка, и он поспешил к ней. Он открыл форточку и подпер ее небольшой картонной коробкой. Сквозняк, вихрем проникший в комнату, пузырем надул занавеску, и ему вдруг очень захотелось, чтобы нечто подобное произошло во всех без исключения квартирах. Дом тогда обрел бы множество парусов и… ничего не случилось бы. Дом не взлетел бы, не рухнул, жильцы поспешили бы избавиться от сквозняков, сняли бы занавески с карнизов, вовсе запретили бы ветер. Наверное, ветер (он продолжал фантазировать) наделал за свою бесконечную жизнь много бед. Ведь чего ему — ветру — стоило и стоит так дунуть в просторную человеческую одежду, что та, обращенная уже в парус, потянет владельца под… Ведь это вполне может быть. Не одежду превратит ветер в парус, а что-нибудь другое — зонт, например. Достаточно его только опустить немного, как тут же ветер отыщет его и наполнит частью своей немыслимой силы. Наполнит и потянет владельца зонта под… Наверное, несчастья подобного рода случались — попадали люди под машины… «Нет, не пишется», — в который уже раз промычал он, плюхнулся на диван и уснул.

Он хотел увидеть школьного товарища, а заодно расспросить о свободном времени жены, поскольку та углубленно изучала в университете русский язык и могла помочь с интересующей его в данный момент грамматикой. Но почему-то он полез в квартиру друга через окно. Оказавшись там очень скоро, он вместо того, чтобы отыскать товарища и извиниться за непрошеное и странное вторжение, залез в карман и достал оттуда стопку картинок-липучек. При всей абсурдности создавшегося положения картинки можно было другу подарить, придумав оригинальный повод, на худой конец их не поздно было выкинуть или положить обратно в карман, но он сделал решительный шаг к шкафу и стал лепить картинки на его дверцы. Картинки покрывали поверхность дверцы беспорядочно, как фотографии чемоданчики в старых сталинских фильмах. На кухне кто-то гремел посудой, но он не обращал внимания на шум и продолжал нелепое занятие. Из коридора послышались звуки уже совсем близких шагов, однако он не бросился бежать, а шлепнул последнюю картинку на лишенную теперь полировки дверцу и только после этого залез под кровать. Товарищ его там отыскал и… помог с грамматикой.

«Сегодня не пишется», — вместе с зевком сказал он и посмотрел под ноги. На голубом линолеуме рядом с его шлепанцем лежал большой комар, которого с детства и, по всей вероятности, до старости ошибочно считают малярийным. «Комар не малярийный, а просто необычно большой, наверное, его называют так несправедливо именно поэтому», — подумал он и вспомнил еще одну газетную статью.

Комаров в той статье насчитали чуть ли не двести тысяч видов, кровососущих из которых набиралась всего лишь сотня без всяких тысяч, да и из той пьют кровушку только самки, дабы оставить потомство. А малярийными заметка величала только тех комаров, которые в момент негодного дела задирают лапки. О размерах этих комаров газета ничего не сообщала. Он еще раз посмотрел на комариный труп и потер лоб с бугорком-укусом, обнаруженным его указательным пальцем тотчас. «Кусил таки», — гневно обратился он к комару и снова ощупал укус. «Кусил, змей! Чего ж тогда помер? Может, тебя друг из сна зашиб? Тогда ты там загибаться должен, с картинками липкими рядом», — захваченный парадоксальностью идеи, произнес он тираду. Продолжить ее он почему-то не захотел и принялся размышлять над вторым вариантом комариной смерти. Он решил, что комар мог погибнуть от плохой, не подходящей ему — комару бишь — крови. Может, комар нуждался в каком-нибудь редком резусе и нечетной группе, а тут донор попался, как назло, неподходящий — и вот…

И все же комар не кусал его вовсе. Большие, грозные, на первый взгляд, комары, которых с самого детства боишься, не кусаются. Они действительно не кусаются, не пьют кровь — будь комар даже самкой. Не входят они в страшную, газетную сотню. Летают себе, умирают случается. Лежат вот так, как теперь, на голубом линолеуме рядом со шлепанцем. Лежат с прозрачным, тонюсеньким тельцем и ножками толщиной в волос. Бывает, что при этом прыщик внезапно на лбу обнаружишь и на трупик закричишь. Чего только не случается, не бывает, не снится, когда не пишется.

**Ритм**

У него болел зуб и горло. Ужасно — и зуб, и горло. Желая как можно скорее побороть недуг, он прибег к продолжительным полосканиям. Он попробовал очень много самых разных лекарственных средств, отыскав прежде затертую, чуть живую книжицу с почти уже стершейся надписью «Травы в помощь». Автор — мертвец с легкомысленной фамилией Феничкин — предварял научно-популярный трактат развеселившим его вступлением. В нем автор писал о хворях, с которыми ему пришлось много сталкиваться в жизни, чего ради он — автор — специально селился на рабочих окраинах, где население нещадно страдало и молило о лекарственной помощи. До него так и не дошло, как автор сего труда умудрялся комбинировать, вернее, ловко сочетать пребывание в районе рабочих трущоб с натуралистской деятельностью в других совершенно местах.

Он листал истлевшую книжицу, подолгу рассматривал черно-белые рисуночки растений и злаков, очень друг на друга похожих и вместе с тем напоминающих то ли неявные отпечатки чьих-то пальцев, то ли прах древних растений, схороненных случайным известняком.

Он листал и листал обильный труд. Вокруг него на светленьких пупырчатых обоях цвели роскошные нелекарственные цветы с венчиками, похожими на шведские короны. А горло болело, ныл зуб. Минутная веселость вновь сменилась тревогой и унынием…

Книга советовала ромашку, шалфей, пустырник, боярышник и сенну в качестве универсального успокоительного. Поразмыслив минуту-другую, он решил остановиться на шалфее и пищевой соде, хотя о последней в книжице не было ни слова. Он поднялся с дивана, отследив движение собственной фиолетовой тени. Тень проползла по дивану, скользнула на пол и вытянулась в струнку, словно испытав боль от придавивших ее пестреньких шлепанцев. Прежде чем покинуть комнату, он обернулся и бросил рассеянный взгляд на телевизионный экран. Он стал свидетелем спортивного старта. На его глазах в химически-зеленоватую воду сигали плечистые пловцы в узеньких одинаковых плавках. Он расстроился еще больше. Пловцы выглядели абсолютно здоровыми. Они были здоровы каким-то механическим здоровьем. Они раскладывались как перочинные ножи, прежде чем вонзиться в воду бассейна.

Он поплелся в кухню делать паровую баню для шалфея. Операция требовала внимания и сноровки. Ему захотелось, чтобы кто-нибудь ему помог. Например, пловец или мама, но рассчитывать приходилось только на себя — больного и растерянного. Он включил газ, поставил на плиту чайник и насыпал в ковшик сухонький невзрачный шалфей. Не верилось, что эта неприглядная, похожая на сенцо трава способна помочь. На плите негодующе булькал чайник. Он снял его, вылил часть кипятка в ковшик с шалфеем, взгромоздил его на чайник вместо крышки, а затем всю конструкцию вновь поставил на плиту накрыв сверху фарфоровым блюдцем. С этого мига начался отсчет паровой бани. Следовало ждать пятнадцать долгих минут. Потом снова следовало ждать, пока шалфей осядет. Потом… Потом надо будет полоскать горло или держать настой во рту до тех пор, пока не занемеют мышцы лица или не зазвонит телефон.

В телевизоре отчаянно лупили по воде здоровыми ручищами крепкие ребята. Только что дали старт. Пловцам разрешили отмахать километровую дистанцию. Он приблизительно подсчитал, что заплыв продлится необходимых бане 15 минут, и ехидно улыбнулся. Спортсмены покоряли трудный рубеж, цветы на пупырчатых обоях кивали коронами, на плите ухала и урчала паровая баня, горло саднило, зуб болел. Он сидел молча и пристально следил за секундомером. Близился финиш, истекала пятнадцатая минута заплыва — он рассчитал все очень точно. Вот к тумбе с огромным номером прибился первый счастливец, громче обычного ухнула паровая баня, и он медленно поднялся с дивана.

В кухне он снял с чайника ковшик, процедил настой, в результате чего в ковшике осталась жутковатого вида смесь, а в большой маминой чашке коньячного цвета — влага, исходящая густым и пахучим паром. Он сел на табурет и принялся ждать, пока настой остынет, дабы начать процедуру. Он сидел на табурете неудобно, как на пеньке, и рассматривал ногу, ту ее часть, которая была в этот момент открытой. Это был совсем небольшой фрагмент кожи, ограниченный носком и краем штанины. Кожа оказалась довольно светлой, почти белой, волоски на ней не стояли торчком, а были основательно примяты, почти впрессованы в поверхность кожи. Волоски выглядели темными, тоненькими, а поверхность ноги в этом месте довольно плоской, игра света и тени на ней была едва уловима. Ему почудилось вдруг, что картина, открывшаяся сейчас взгляду, напоминает модную нынче визитную бумагу финского, кажется, производства. Да и сам участок кожи наталкивал на подобную ассоциацию — он был ровной, прямоугольной формы.

Все равно чувствовал он себя муторно. Болел зуб передний, нижний и здорово саднило горло. Он решил, что пора приступить к лечению и наполнил стеклянный стакан настоем. В ванной — ее он избрал местом своего вынужденного пристанища — он принялся полоскать рот. Он стоял неестественно прямой, с закинутой назад головой и наполнял эфир ванной комнаты смешными звуками, похожими на тирольские напевы. Закончив полоскание, он набрал в рот настоя и решил слоняться так по квартире, не выплевывая его как можно дольше.

Он бродил по комнатам, бесконечно проговаривая незатейливые заклинания, посвящающиеся то зубу, то горлу, а в голове его уже поселилась информация, разобраться в которой он то ли не мог, то ли не хотел, сосредоточенный на своей стойкой хвори. Так прошел час. Он вновь наведался в ванную и снова набрал в рот свежую порцию настоя. Теперь он маячил на лоджии, созерцая голубое в белое облачко небо. Небо делил по диагонали пополам рыхлый самолетный след. Виновник этой геометрии был мелок и невзрачен. Неподалеку от лоджии откуда-то справа и сверху вынырнул большой бумажный самолет и по спирали стал опускаться на землю. Это был настоящий гигант по сравнению с той технически совершенной машиной, которая еще продолжала чертеж. Мысли об относительности всколыхнули в голове застрявшую там смутную информацию. Ему на мгновение показалось, что информация эта проста и немногословна, что она сродни афоризму, но он опять спешил в ванную.

После шалфея пришла очередь соды. Процедура обращения с ней мало чем отличалась от предыдущей. Он выполоскал рот, затем снова наполнил его. С полным ртом содового раствора он снова шел на лоджию. Стало темнеть. Рыхлые клочки самолетного следа прилепились к едва заметным облакам. Наступил вечер. Он посвятил процедуре уйму времени. Боль как будто улеглась или она просто опротивела ему и поэтому стала не такой заметной. Раздался звонок. Пришла мама. Он встретил ее молчаливым кивком. Потом зашла за луком соседка, потом вернулся с дачи отец и с работы брат. Он донашивал последнюю порцию соды. Немота то ли тяготила, то ли радовала его. Он путался в ощущениях. Выплюнув изо рта влагу, он появился в гостиной. Домашние смотрели телевизор. Почти одновременно они повернули головы в его сторону. «Ну, что скажешь?» — насмешливо произнес папа. «Просим, просим», — поддержала папу мама. «Не молчи, солдат», — съязвил с кресла брат.

Он стоял посреди комнаты, хищно сощурив глаза и разбросав по черной футболке, обтягивающей его хилое тело, пальцы левой руки, отчего казалось, что пальцев больше, чем пять. Он стоял так не больше минуты, мучая себя и окружающих. Вдруг он заговорил, его слова были ужасны… Он сыпал афоризмами из газеты «Аргументы и факты». «Учись — пока хрящи не срослись», «кто тихо ходит — тот густо месит», «здоровый бедняк — счастливее больного короля», «чужая голова не болит»… Он говорил и говорил. Остановить его было невозможно.

**Музыка**

Музыка… музыка… и слова, конечно, тоже. Речь о песнях. Песни бывают разные — грустные и веселые, хорошие и плохие, любимые и нелюбимые. Воздействие их на человека бывает ощутимо настолько, что знаменитые писатели бодро брались за перо и… «Кирпич и музыка», и «Черный алмаз». Впрочем, это не писатели, а писатель. Да, писатель. Зато какой — худой, мрачный, в темной, почти современной рубашке и вороном на плече.

Воздействие песен в двух этих рассказах на человека бесспорно. В первом случае, вернее рассказе, пьяненький работяга так обозлился на льющуюся на него из окошка богатого особняка музыку, что, немного поразмыслив, метнул в окно кирпич и погрозил вдобавок кулаком и музыке, и домику, и семейству. В другом повествовании герой сорвался с цепкой, казалось бы, каторги так лихо, что и следа его потом, как ни старались, не нашли, хотя вели они — следы эти — к любимой, певшей однажды старинный романс. Его герой услышал спустя несколько лет из других совсем уст, в других совершенно условиях, нахлынули воспоминания и… Вот так, вкратце, у писателя с вороном на плече и туберкулезом в легких с музыкой и последствиями, ею вызванными, получалось. Однако и сейчас происходят необычные, удивительно прямо истории. Две самые интересные мне захотелось сейчас вспомнить.

Одна произошла на дне рождения моего школьного товарища. Гостей на празднике было человек десять — в основном близкие родственники именинника и его супруги. Гости сидели за большим столом, ели, произносили тосты и поступательно хмелели. Я тоже однажды сказал тост, но прежде чем это сделать, осторожно поднялся из-за тесного стола, рискуя задеть закусывающего в данный момент соседа справа. Я справился, и сосед, никак мною не потревоженный, продолжал выпивать и закусывать. Это был парень моих лет, длинноволосый, сероглазый, одетый в черную, наглухо застегнутую рубашку и джинсы. Вскоре и он попросил слово и сказал короткий тост. Пока мой сосед говорил здравицу, за столом царила полная тишина. Гости внимали моему соседу и лучились искреннейшими улыбками. Сначала меня несколько удивило столь серьезное отношение их к обыкновенному по сути дела тосту, но чуть позже я узнал, что мой сосед — неродной брат именинника, что прежде воспитывался в детском доме, но в дошкольном, так кажется, возрасте попал в семью моего товарища, и вот… Сосед вел себя вполне пристойно, и когда зазвучала музыка, не направился курить. Он посидел за столом, внимая свирепым эстрадным аккордам минут десять-пятнадцать, и только потом вышел на лестницу. Через несколько минут он вернулся и снова сел за стол, никак не выражая протеста против набирающей обороты чудовищной музыки, которую на свободном комнатном пространстве вовсю поддерживали кряжистыми ногами, толстыми ладонями и даже восторженными вскриками хмельные гости. Он просидел за столом еще некоторое время и снова вышел покурить. Когда он вернулся в комнату, выражение его лица изменилось. За столом он стал хрустеть пальцами, а в перерыве между этим занятием одержимо пить крепкий алкоголь, не дожидаясь тоста. После очередной рюмки он поднялся и снова вышел на лестницу. Там он встретил брата-именинника и чрезвычайно деликатно, почти шепотом попросил того поставить «что-нибудь другое». Брат кивнул и направился в комнату, из которой продолжали доноситься дикие ритмы и не стихающий ни на мгновение топот. Через минуту именинник вернулся и со скорбью в голосе сказал брату, что гости категорически против, что им подобная музыка «даже очень нравится, а о Филле Коллинзе они ничего не слышали». После этого мой расстроенный сосед зашел в гостиную еще раз, снова услышал ту же самую музыку, с тоской посмотрел на брата и, ссутулившись, вышел в коридор. Его уход заметили не сразу, а когда заметили, очень удивились. Особенно недоумевали краснолицые родственники, только сейчас оторвавшиеся от активного времяпрепровождения.

В момент чаепития я оказался на месте именинника, бок о бок с его женой. Мы сидели и пили чай, когда она сама аккуратно коснулась меня локтем и прошептала на ухо: «А ведь он приходил недавно. Я сама видела, когда курила на лестнице». «И что? Чего ж он не позвонил?» — сразу же поняв, о ком идет речь, спросил я. «Он хотел сначала. Даже руку занес, но потом…» «Что потом?» «Потом он услышал, что творится за дверью и… ушел снова. Он думал, что эта дребедень закончилась, а родственнички кассету перевернули, и все началось по новой. Вот он и ушел».

Был и второй случай, который в отличие от первого закончился даже ножевым ранением в разгар залихватского музыкального ритма. Свидетелем этого происшествия я не был, поэтому рассказываю историю со слов очевидца и невинно пострадавшего. Конечно, он не сам себя ранил. Был товарищ, тоже большой поклонник музыкального таланта артиста Андрея Миронова. Любили друзья его песни очень. Оказавшись однажды в ресторане, они заказали знаменитую «песню про зайцев», и не просто заказали, а и исполнили в лицах. Один из друзей подошел к микрофону и запел песню на всю акустическую катушку, в то время как другой несколько раз подбегал к сцене и стучал пальцем по циферблату часов. Товарищ товарища — тот, который исполнял песню, — естественно, подбрасывал в воздух ноги, однако делал это аккуратно, в отличие от своего киношного прототипа.

Обошлось мероприятие без серьезных эксцессов: драки не случилось и дичь не пострадала. Разогретые алкоголем и зажигательной песней друзья пришли домой и сразу же ринулись к проигрывателю. Пластинка с бессмертной музыкой уже лежала наготове. Ее друзья бережно опустили на диск проигрывателя и, очень собой довольные, плюхнулись на диван. Они ослабили на шеях галстуки, закатили глаза и зашевелили губами, повторяя за Андреем Мироновым слова лирической песни. Пластинка, к слову сказать, состояла из разных песен, располагающихся одна за другой таким образом, что каждая новая оказывалась динамичнее предыдущей. Поэтому во время второй песни друзья уже курили, третьей — пили шампанское, а четвертой — запевали во весь голос. Так незаметно закончилась первая сторона пластинки, и товарищи решили передохнуть. Они откупорили еще одну бутылку и нетерпеливо забарабанили пальцами по сервировочному столику. Пауза длилась недолго — ровно столько требуется двум молодым людям, чтобы выпить бутылку шампанского и выкурить сигарету-другую. Первую песню со второй стороны пластинки друзья воспринимали молча, и только водили вытаращенными от затаенного возбуждения глазами, по сторонам. Вторая песня в их поведении ничего не изменила. Но третья… Третья заставила их встрепенуться. Как раз к ее началу один из друзей наткнулся взглядом на морской кортик покойного папы другого и поспешил его сорвать со стены. Друг вслед за товарищем схватил в руки обыкновенную деревянную линейку и… «Шпаги звон, как звон бокала…» Сначала все шло хорошо, прямо как в песне. Один наступал, топая ногой и размахивая кортиком, другой делал вид, что защищается школьной линейкой. Один несколько раз уже запрыгивал на диван, продолжая махать кортиком на вполне безопасном для товарища расстоянии. Другой не боялся — ведь соперник не был пьян настолько, чтобы проткнуть его или порезать. Он действительно не был пьян настолько… «Подлецов насквозь я вижу — зарубите на носу!» Последние три слова товарищ с кортиком пропел вместе с Андреем Мироновым и не рассчитал с выпадом. Вернее, рассчитал иначе, потому что нос друга не тронул, а вот бок… Боку досталось.

Врача товарищи решили не вызывать. Рана оказалась неглубокой. Ее продезинфицировали, замотали бинтом и оставили заживать. Через месяц от нее не осталось и следа, но впечатление, но удивительный миг почти абсолютной гармонии поступка и песни, безусловно, сохранился.

Как там у таинственного писателя рассказы назывались? «Кирпич и музыка» и «Черный алмаз». Поскольку опуса у меня вышло два, может их и стоит назвать, следуя аналогии с существующими. Вот первое название придумал сразу. «Лохмач и музыка». Герой — сосед был, если помните, волосатым, лохматым даже. А вот со вторым… Со вторым рассказом сложнее. Так и подмывает назвать его как-нибудь так: «Шпаги звон» или «Вжик и…». Лучше, конечно, звучит нечто подобное. Скажем, «Черный эфес». Эфес, как известно, деталь шпаги. А от нее до кортика — только руку протяни.

**Рыжая дворняга**

В нашем доме в соседней парадной живет рыжая дворняга. Кроме нее в доме много других собак, но речь об одной единственной. Собака не нравится моей маме, потому что она без конца лает, а хозяйка — девушка лет семнадцати — не обращает на это внимания, хоть бы что девчонке. Моя мама не раз и не два пыталась разобраться в причинах надсадного лая пса и однажды в этой связи произнесла приблизительно следующее: «Я заметила, эта рыжая, противная собака лает только на парней. Ведь именно они приходят к девчонке, стоят с ней вместе на лестнице или сидят на скамейке, когда та прогуливается вместе с псом». «Они что, не нравятся псине?» — спросил я маму. «Да, и собачья злоба переносится на всех молодых мужчин, которые проходят мимо дома, в том числе и ее парадной…»

Возможно, мама была и права. Пес лаял на меня, брата, приятеля брата, хотя никакого отношения к девушке мы не имели и иметь не собирались. Подобное поведение четвероного меня лично раздражало, поэтому прежде чем выйти из дома, я внимательно смотрел в окно и отправлялся в путь, только если собаки во дворе не оказывалось. Обычно мне везло, но случалось, что псина вместе с хозяйкой оказывалась во дворе, и я рассматривал их по очереди. Почему рассматривал — не знаю. Рассматривал, и все. А раз так, то кое-что замечал и запоминал. Начнем с… девушки. Гуляла девушка почему-то все время без шапки. Холодина, морозище даже, а ей «чихать»… Поэтому бросались в глаза чистые и густые ее волосы. Именно густые и чистые. Я не преувеличиваю и не идеализирую картину. Может чуть раньше, накануне прогулки девушка мыла голову шампунем (их вон сколько), феном (их чуть меньше) сушила, и «Дик, за мной!» — топала на улицу. Так, наверное, и происходило и удивительным образом с моим появлением в окне совпадало. А мне, признаться, казалось это странным, необычным даже… Ходила еще с такой вот сверкающей шевелюрой девушка быстро, мельком осматривала окошко родного седьмого или восьмого этажа, изредка заходила к подружке в наше парадное. Училась? А как же. В «плохой» (мама называет ее не иначе) школе, в которой учился еще недавно мой младший брат. Курила? Может быть. Пробовала спиртное? Может быть тоже. Имела домашних животных? Имела. Собаку рыжую, беспородную. О ней теперь речь. Собака, в общем, как собака. Рыжая, с блестящей короткой шерстью. И с чего вдруг блестящей? Я все еще удивлялся в окне. «Может, девчонка и пса шампунем намывает?» — так прямо и удивлялся…

Запомнился еще такой эпизод. Дело было летом. Глянул я в оконо и снова пару увидел. Девчонка на скамейке, кобель рядом — шерстью короткой на жарком солнце сверкает, и шерсть эту девчонка гребнем расчесывает. Расчесала (минуты две прошло), и все — кобель смылся куда-то, и я с ним одновременно, только не «куда-то», а на кухню — сливы есть. Летом (заканчиваю с эпизодом) девчонка носила черные лосины и синюю джинсовую куртку. Летом же за девчонкой, как мне уже не из окна показалось, стал ухаживать парень из пятиэтажки напротив, Колька. Кольку мы с домашними по старой привычке называли Николкой и очень за него однажды переживали, когда во время хоккея его толкнули на бетонный поребрик и с Николкиным лбом случились неприятности. Но это было очень давно. После этого Николка закончил нашу «плохую школу», ПТУ и отслужил в армии. Во время ухаживаний Колька водил троллейбус и носил кожаную «косуху», джинсы и сапоги-казаки. Такого вот лихого парня девушка однажды всем сердцем полюбила и в час совершеннолетия вышла замуж. Но я этого точно не знаю. О событии этом мне, как обычно, поведала мама. Еще мама сказала, что теперь рыжая противная собака гуляет самостоятельно и что именно ее она видела недавно в районе трамвайной остановки, а это намного дальше желтой трансформаторной будки. «Ты представляешь, в какую даль ее занесло. И ничего с этим чертом не делается. Спустя час, возвращаясь из магазина, я ее уже у нашего парадного обнаружила». Так приблизительно сказала мама и дальше столь же примерно сообщила об изменениях в личной жизни хозяйки. Я маме поверил и, как прежде, посмотрел в окно. Во дворе я увидел рыжего, тощего пса. От него неподалеку прогуливалась женщина в василькового цвета пуховичке с коляской, пожилая, очень похожая на бывшего товароведа дама и старый, потому что непожилой еврей Яша с искусственным наполовину сердцем, которое моя мама называла «пламенным мотором» или просто «мотором». Троица взирала на пса спокойно. Троица гуляла рядом с притихшим и поблекшим псом, а я смотрел на эту картину и в голову мою лезла запутанная, как прогулочный маршрут троицы, мысль. Наверное поэтому я открыл серый, французский ежедневник и написал: «…Я стоял и смотрел в окно… Во дворе гуляли трое очень разных людей, и в стороне от них рыжая худая собака. Хозяйка собаки — молодая девушка — недавно вышла замуж и вскоре переехала в пятиэтажный дом напротив. Девушка не взяла в квартиру мужа пса и теперь он гуляет самостоятельно и, случается, убегает к трамвайной остановке, которая намного дальше трансформаторной будки. Гуляющая в одиночестве рыжая, брошенная собака заставляет иногда думать о ее хозяйке, и мысль о том, что девушка действительно вышла замуж и теперь живет в другом (пусть близком) месте, кажется удивительно отчетливой. Мысль, я в этом убежден, не была бы такой, если не было бы сейчас во дворе одинокой рыжей собаки, нескольких прогуливающихся людей, и…». Столь долгий отзыв написал я, рассматривая уже знакомую картину, но последовавшее затем повествование получилось еще дольше. Такое случается.

**Не так**

— Зимой на Севере холодно? Ведь так?

— Так. Именно. Холодно.

— Но в помещении терпимо. Горячие батареи вдоль стен… Можно жить и работать?

— Можно. Нужно.

— И служить?

— И служить.

— На Северном флоте, да?

— Да.

— Ты, кажется, рисовал на этом самом флоте. Писал лозунги на ватмане плакатным пером, рисовал кистью тучные сельские нивы, резал трафареты, чтобы потом у изображенных тобой морячков выходили ровные, как скулы у мозаичного Маяковского на одноименной станции метро в Ленинграде…

— Скул требовал замполит. Градация светло-песочного с темно-коричневым должна была быть четкой и зримой.

— Зримо можно представить, как ты все это проделывал. Ватман, лезвие «Нева», поскольку оно толще остальных и реже ломается. Кусочек поролона наполовину в краске, характерный звук, который он издает, касаясь древесно-стружечной плиты. Ритмичный такой, убаюкивающий даже звук. И в унисон ему перестук костяшек кисти твоей руки, выполнявшей нехитрый оформительский прием. Тебе очень редко удавалось творить бесшумно. Ты почему-то все время задевал рукой холодное ДСП. Странно, не находишь?

— Нахожу. Еще пачкал пальцы, хотя далеко держал их от пропитанного краской кончика поролона…

— Тебе это казалось. Ты держал пальцы близко, поэтому они и пачкались. Еще тебе казалось, что справа по длинному цилиндру паровой батареи ползет крыса. А это была тень, твоей беспокойной руки. Крысы не было. Была батарея, ряды стульев, стол для президиума обтянутый красным сукном, наглядная агитация по стенкам, которую ты же и сделал. Были ступеньки, сцена, на которую они вели, пианино, бильярдный стол. Ведь так? Все это было?

— Было. И был еще занавес. Подсобка с музыкальными инструментами…

— Запасной выход… Ведь это же подробнейшее описание зрительного зала. Ты сначала работал в нем. А позже перебрался в библиотеку, отделенную от зала перегородкой. Попасть в библиотеку можно было только из холла. И ты выходил из зала в холл, резко сворачивал направо и, робко постучавшись, ступал на заветный порожек. Ты ведь очень долго осторожно вот так стучался, невзирая на свойские, пожалуй, даже теплые отношения, которые сложились у тебя с библиотекаршей?

— Да-да, довольно долго, полгода, приблизительно.

— А потом перестал. Решительно ты входил в библиотеку — там было светлее, чем в зале, и сразу же устремлялся к ней, и вы обнимались, и ты целовал ее, потому что свойские отношения незаметно переросли в теплые, а теплые в близкие. И эта эволюция чувств была необыкновенной. Но, вероятно, об этом стоит помолчать. О подобных вещах говорить трудно. Вместо этого я попробую описать один твой день. Вернее, ВАШ день. День, принадлежащий вам обоим. Ты не волнуйся, я буду деликатным и точным даже в мелочах. Разрешите начать, товарищ… гм, прости, не помню твоего звания…

— Это не имеет значения. Приступай. Я не возражаю.

— Ты работаешь в зале, выстукиваешь темно-коричневую часть матросской щеки, а рядом на полу лежит еще один трафарет — эта вырезанная на листе надпись СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, расположенная по дуге. Ты работаешь в зале, во-первых, потому что работа, которую ты делаешь, слишком масштабна для небольшого помещения библиотеки, а во-вторых, та сегодня закрыта — выходной. Но вторая причина мало связана с твоей монументальной работой. Ведь не стал бы ты в конце концов лезть с масляными красками и плитой два на три метра в библиотеку с любимой за столом?

— Нет. Конечно.

— Но ты обязательно зашел бы к ней, доделав щеку до конца. Но ты обязательно что-нибудь придумаешь. Прямо сейчас, рассеянно оглядев надпись, расположенную по дуге. Собственно, и думать тебе не надо. Ведь вы давно договорились о встрече в ее выходной — среду. В среду или четверг?

— В среду.

— Замечательно. Вы договорились на среду. Вероятно, вы повторяли друг за другом как заклинание: «С 10 до 11. Окна в гостиной будут зашторены, будет гореть торшер и дверь в квартиру…

— Будет не заперта.

— О, я вижу, ты знаешь опознавательные знаки назубок. Я вижу щека закончена. Физиономия матроса-североморца вышла терпимо идиотской. Это не худшее твое творение. И агиточки на стенах, кричащие об урожае зерновых и безмерном сталепрокате, вполне сносны. Ты неплохой оформитель. Однако следует поспешить. Время…

— Да. Надо собираться.

— Собирайся. Я подожду тебя на улице. Терпеть не могу всей этой волокиты. Шинель, шапка, перчатки… Ключи, двери. Много самых разных дверей и дверек, которые надо все до одной закрыть. Потом от последней вернуться, чтобы замочить в растворителе кисти, и… все сначала. На улице контрольно-пропускной пункт, высотное здание гарнизонной поликлиники, забор каменный, забор деревянный, автозаправка, проспект, троллейбусная остановка… Троллейбус — и это уже лучше, хотя в нем холод лютый. Троллейбус седой от инея. Ты едешь и мерзнешь. Признайся, тебе холодно?

— Холодно, признаюсь.

— Ты еще и трусишь слегка. Выглядываешь на каждой остановке в открытую дверь, поскольку прекрасно знаешь, что патрули иногда наведываются и сюда. Ты сам видел однажды, как патруль влетел в троллейбус. Ты ликовал, шагая по противоположной стороне проспекта с законной увольнительной, похожей на номерок к врачу… Патруля не оказывается ни на первой, ни на второй, ни на третьей остановках. А на четвертой, напротив кинотеатра, ты выходишь. Я не ошибаюсь?

— Нет. На четвертой, все верно.

— Верной дорогой идете, товарищ! Прости за каламбур. Верной, но трудной. Выскочив из троллейбуса, ты подныриваешь под афишный стенд, успевая посмотреть по сторонам — вдруг патруль? Потом, смешно семеня ногами, спускаешься на тропку. Справа и слева от тебя деревянные двухэтажные дома с сортирами по соседству. И тех, и других очень скоро здесь не станет. Их скоро снесут, и люди, истомившиеся от холода и дискомфорта, въедут в блочные или панельные дома, в одном из которых живет она с мужем, из-за которого у нее невроз, и дочкой, из-за которой у нее стыд, оттого что когда ты приходишь, та, случается, оказывается дома и видит «дядю», который «пришел, но скоро уйдет» и про которого «говорить не надо». А ты идешь в направлении ее панельного дома и почти не думаешь о том, о чем так часто и тревожно думает она, и это очень плохо. Это объяснимо, но плохо, поверь.

— Верю.

— Не верю. Я прекрасно могу представить, как собран ты. Как стремишься ты донести свой любовно-примитивный пыл до улицы, как, бишь, ее?

— И ладно.

— Донести и отдать без остатка. Ты внимателен к ландшафту. Я думаю, это инерция той патрульной боязни. Ты смотришь по сторонам и, не обнаружив черных тараканьих фигурок патрульных, останавливаешь взгляд на постройках. Вот, например, школа и лихая надпись на фасаде «Марина — дура».

— Полина — дура.

— Школа с надписью, горка с языками катков. Ты поднимаешься на нее. Местность, по которой ты идешь, теперь равнинна, на ней стоит большое и приземистое здание профтехучилища. Ты скользишь по утоптанному снегу и заглядываешь в окна на румяных с морозца учащихся, которые едят кашу, запивая какао цвета матросской щеки, оставленной тобой полчаса назад. Сравнение не кажется тебе спорным? Я не ошибся с цветом?

— Нет-нет, все в порядке. И языки катков мне понравились.

— Больше не буду об училище. Буду о гаражах. Их было много. Этакий гаражный городок. Ты обходил их стороной, мельком оглядывая дежурный автомобильчик. Кто-то из частных собственников, не взирая на погоду, обязательно ремонтировался. Играл спрятанный в гаражных недрах транзистор. Тебе запомнилась песня шведского дуэта «Солнечное регги». Так?

— Так. Мужской дуэт. Неулыбчивые лица.

— Не суть. Гаражи с музыкой, еще один подъем, и начались пятиэтажки. Рядом с некоторыми лодки-песочницы, металлические конструкции с пропаном. Помнишь их?

— Помню.

— Хочешь, попытаюсь описать конструкцию, очень приблизительно, конечно?

— Попробуй.

— Значит так. Цилиндр. Горловина-раструб. Сверху крышка, а снизу от основного цилиндра тянуется труба диаметром не больше городской, водосточной. И надпись ПРОПАН. Очень, кстати сказать, напоминающая надпись СОЛЕНОСТИ на бачке в твоей флотской столовке. И в то же время было в этих приспособлениях что-то не совсем земное. Подчас они выглядели как некие космические агрегаты. В окрУге, речь о которой, рядом с каждой пятиэтажкой с десяток таких конструкций располагалось…

Пятиэтажка разбеленно-желтого цвета проседала в белый, как трафаретная бумага снег. На первом этаже, в первой парадной, в квартире с зашторенными окнами размыто светился торшер. Дверь в квартиру была не заперта. Она стояла на кухне в пестром стеганом халате в убедительнейшем контрпосте. Никто и никогда так подчеркнуто основательно не опирался на правую ногу в сабо на полиуритановой, крепкой подошве. Никто и никогда так подчеркнуто легко не отставлял левую с несколько толстоватой щиколоткой, на ребро этой модной тогда обуви. Она стояла, вытянув вперед шею с фрагментом челки на бледном лбу. Сияющими глазами она высматривала тебя… Она высматривала тебя и мешала ложечкой сахар в чашке с кофе…

— Но она никогда не пила по утрам кофе.

**Городские пасторали**

Зося замечательно, просто превосходно провела первую половину дня. Она переделала множество дел. Например, перемыла всю-всю-всю посуду, оставшуюся с вечера, вытерла эту груду фарфора, доказательством чистоты стал приятно-упругий звук, рожденный касанием светленького полотенца с очередной тарелкой, кружкой, масленкой… А сахарница — последняя в череде домашней утвари — издала что-то и вовсе сладковато-писклявое. Этот писк Зося посчитала неким акцентом, легкой точкой в процессе уборки, и, оглядевшись по сторонам, обнаружила небольшую лужицу, которая натекла с вымытых еще до посуды овощей. Зося стремительно к ней подскочила, произведя вихрь, немедленно поднявший в желтоватый кухонный воздух перышко, явно подушечное и неизвестно как оказавшееся в кухне. Сначала перо бросилось за Зосей, на мгновение пристало к юбке, затем оторвалось, на секунду неподвижно повисло в воздухе, а после предалось какому-то мечтательному парению…

О мечтательном парении не могло быть и речи. Военный летчик майор Ковшик вместе со штурманом одинаковой пружинящей походкой направились к истребителю, готовому подняться в воздух для выполнения боевого задания. Ковшик выглядел печальным. Это был странный, свойственный только ему оттенок решимости, желание сделать хорошо свое непростое дело. Внешне майор выглядел безупречно. Одежда ладно сидела на его крепком жокейском теле. Ковшик со штурманом спешили к зеленовато-свинцового цвета игле, по мере приближения приобретающей очертания сверхзвукового самолета с большими красными звездами на крыльях и фюзеляже. Вокруг головы пилота, лишенный пока гермошлема, жужжа, носились разноцветные мухи, словно предваряя своим противным жужжанием шум вскоре заработающего двигателя. Ковшик не обращал на насекомых внимания. Мысли его были далеко от летного поля. Он был уже внутри замерзшей пока машины, потому что именно там, а не здесь, среди безобразных лопухов и назойливых насекомых, ему предстояло испытание новой катапульты. «Мечтательное кружение… гм», — в полголоса сказал Ковшик слова, словно нашептанные кем-то. «Штурман, вы готовы?» — уже резанул тишину голос майора. «Так точно, готов!» — ответ штурмана «наскочил» на вопрос командира, так скоро он последовал.

Последовал минутный перерыв. Зося устала. Сейчас она с удовольствием осматривала спелые кабачки с глянцеватыми бликами на ребристых боках, ровненькие свеклины с поразительно аккуратными хвостиками, и помидоры, и луковицы, и перцы. Зося хотела приготовить овощное рагу, даже при мысли о котором начинало щипать ноздри. Зося присела на табурет и стала болтать ногой, попадая в такт висящего на стене маятника, и с ровными промежутками времени открывала ничейному (ах, как жаль) взгляду сосновый сучок, расположившийся на одной из ножек табурета, формой напоминающий сердечко. Прервав непродуктивное времяпрепровождение, Зося легко встала, потянулась и заплясала в сторону стола с овощами. Зося действительно плясала. Она двигалась к столику спиной, исполняя прием «веревочку» — это когда от мельтешения ног рябит в глазах, а руки упираются бока, хотя никаких боков у хрупкой, тоненькой Зоси не было и в помине. Столь необычный подступ к столу с провиантом развеселил, раззадорил Зосю, от полноты чувств она замурлыкала веселую песенку, которую очень хотелось поддержать звонким стуком барабанных палочек.

Безымянный палец майора Ковшика ему же самому напоминал барабанную палочку. Палец был необычно длинным, с четко обрисованной верхней, крепкой фалангой. Как раз этим пальцем майор собирался нажать кнопку новой катапульты. Истребитель хозяйничал в неохватном облачном небе, исполняя фигуры высшего пилотажа. Бесконечно далеко под ним пласталась государственная собственность, многоцветная, как лоскутное одеяло. Ковшик непроизвольно шмыгнул носом и приготовился сделать мертвую петлю.

Так, петляя, лучась улыбкой, Зося приближалась к столу с натюрмортно-прекрасными овощами. Спустя несколько минут она склонилась над ними с шинковкой в руках и решительно приступила к действию. Новые и новые кружочки очередного овоща жертвенно отклонялись вправо и потеряв равновесие, покорно ложились. Очень скоро все необходимые для рагу ингредиенты были приготовлены и старательно перемешаны в большой эмалированной кастрюле. На сковородке нетерпеливо потрескивало подсолнечное масло, подгоняя запыхавшуюся хозяйку. Зося бережно погрузила овощи на сковородку, круговым движением соскребла со стенок кастрюли липкие сигменты полупрозрачного баклажана, которые направились за основными овощами следом, и завершила процедуру триумфально-значительным жестом, накрыв сковороду крышкой. Затем Зося откинула со лба прядь и направилась широким шагом в комнату, а в комнате к креслу. Уютно устроившись в нем, Зося протянула руку к журнальному столику и взяла в руки потрепанный рыцарский роман с неразборчивыми готическими буквицами на обложке.

Обложек у штурманских карт, как известно, не бывает. Они картам ни к чему. Штурман — помощник Ковшика, щурясь под плексиглазом гермошлема, водил карандашом по листу, густо испещренному значками, цифрами, линиями и прочими специальными обозначениями, которых не бывает в книжках уютно устроившихся в креслах мирных расслабленных людей. Штурман вывел на карте где-то справа внизу ровный кружок и вопросительно посмотрел на командира. «Годится», — внятно произнес ретранслятор, практически не исказив голос старшего. Еще штурман не услышал, а увидел странный палец Ковшика, невзначай скользнувший по красной кнопке катапульты. «Уже скоро», — подумал штурман.

«Уже скоро», — подумала Зося об овощном рагу, которое бурлило, как гейзер, испуская аппетитнейшие запахи. Она направилась в кухню и, не раздумывая, повернула ручку газовой плиты. Пробовать рагу она не стала, решив дождаться, пока то остынет, и, вообще, голодной Зося себя не чувствовала. Сейчас, когда так превосходно, просто замечательно прошел день, его самая трудная часть, ей захотелось прилечь, что она и сделала, не мешкая… Зосе снился сон, конечно же. Сознание спящей посетила эпически-прекрасная картина, на которую она взирала, не мигая, скрестив на груди остывшие руки. На поле, невероятно большом, для битв рожденном, расставив могучие ноги, стоял сказочный исполин или некто, являющийся божественным существом, называть которое следует «создателем» или подобным этому словом. Он перспективно сужался кверху, его силуэт терялся среди многочисленных облаков. Видеть Зосе удавалось только руку исполина (вторую конечность он прятал за спиной), круто изогнутую для отчаянного замаха. Зося присмотрелась. Пальцами руки колосс осторожно сжимал крошечный самолетик. Зося рассмотрела фюзеляж, усыпанный красными звездами. Ей показалось, что, как это не легкомысленно звучит, великан явно собирается «пускать самолетики». Словосочетание напросилось само и мгновенно развеселило. Еще Зося подумала, что метафизически это сложное занятие военных людей могло, вероятно, выглядеть и так: некое огромное, совершенное создание самочинно решает, куда лететь самолету, и само же его направляет верной рукой. Тем временем туловище великана чуточку отклонилось назад, Зося напрягла зрение. В следующую секунду он резко выбросил вперед руку (послышался звук сработавшей пращи), разжал пальцы и самолет повис над Зосиной головой. Неподвижность его оказалось мнимой, эффект покоя возник в результате виража — самолет устремился не вперед, а вверх. Затем, набрав высоту, он ринулся в сторону, издав характерное жужжание. Вначале Зося не придала этому внимания — звук показался ей закономерным, вполне самолетным. Но звук нарастал. Вот он уже рядом, у самого уха, противный, мушиный звук, способный вывеси из себя, подчас способный заставить проснуться крепко спящего человека. Зося не спала крепко. Она проснулась вмиг, не липко открыла глаза, такие же ясные, как до сна, и увидела муху, носящуюся вокруг головы тревожными зигзагами. Тогда Зося вскочила, схватила со стула полотенце, распахнула окно и стала гоняться за мухой, размахивая полотенцем над головой, как мальчишки в ее детстве игрушечными шашками. Наконец, ей удалось оттеснить вредное насекомое к открытому окну. Последний взмах — полотенце издало победный звук новогодней хлопушки, а муха захлебывающееся «ж-ж-ж» уже за пределами бетонной лоджии… Теперь Зося стояла на лоджии, смотрела прямо перед собой и вспоминала детали забавного сна. Они пришли, но не сразу. И это было хорошо, было приятно вспоминать захватывающие его картины: поле, исполин — создатель, его рука в отчаянном замахе и самолетик, который осторожно он сжимал пальцами. И тут Зосе очень захотелось увидеть самолет, нет не из сна, а вообще самолет. Лучше, наверное, военный, невидимый, с медленно рассыпающимся дымным следом. И она действительно увидела его в далекой синеве неба. Она смотрела и смотрела, будто ожидая чего-то, и ожидания ее были вознаграждены, потому что вскоре Зося разглядела мизерную точку — это летчик Ковшик, скрестив на груди руки и несильно согнувшись в поясе, напоминая позой человеческий эмбрион, кувыркаясь, падал вниз. Катапульта сработала безотказно. И Вы правы, дорогой читатель, что произошло это именно тогда, когда раздался победный хлопок, изгнавший вон муху. «Здорово», — сказала Зося, разглядев в небе белый купол парашюта.

«Здорово», — выдохнул майор Ковшик, благополучно приземлившись в васильки мирного совхозного поля.

**Угол зрения**

Поразительно устроен мир. Булочная в мире. Заходишь в нее, неблагоустроенную, «половинку ржаного» — говоришь. Тебе в ответ — чек и сдачу. Возвращаешься с покупкой то ли домой, то ли на работу и некоторое время тайну сдачи хранишь, попросту говоря, в кошелек не заглядываешь, помнишь только, что монетка медной была, цвета самовара на плохой репродукции. «Монетка 50- или 100-рублевого достоинства», — так по прошествии некоторого времени решишь, ну и в кошелек ненароком заглянешь. «Вот она, медяшка 100-рублевая», — пробурчишь себе под нос, длинный как трамвайная остановка, и глазом соколиным на монетку глянешь. Глянешь и обомлеешь — монетка-то английская, двухпенсовая. Быстренько курс в памяти освежишь, пенс в рубли скоренько конвертируешь и — готово дело: два пенса вроде наших ста рублей. Не обманули, выходит, в булочной, честно сдачу дали, а то что в СКВ — так это даже приятно. Все после любопытного открытия занимательным кажется. Идешь по улице, справа окна детского сада. То, что за ними, видно не очень — мешают высокие подоконники. «Ой, чего это монашенки в детском саду делают?» — вырвется вдруг. «Чего это они, правда? Вот же колпаки их островерхие, крахмальные!» Чтобы удостовериться, встаешь на носки, треща суставами. «Да нет, не монашенки это никакие, а подушки детские, правильно взбитые и аккуратно расставленные», — поспешишь себя успокоить и разочаровать одновременно. Приходишь то ли домой, то ли на работу, ешь котлеты. Потом в этот же день или вечер снова ешь котлеты, или ежики, или зразы. Ты их ешь и думаешь, что очень, наверное, похож на прозрачный барабан из спортлото, внутри которого носятся пронумерованные шарики. Ты уже ощущаешь внутри себя, стеклянного, пронумерованные котлетки и… не хочешь больше их есть. А дальше, через день, или неделю, или месяц, с ужасом обнаруживаешь, что куски смолы, которую приготовили к плавке, чтобы после залить крыши девятиэтажек, похожи на говяжью печенку.

Мир, конечно, устроен поразительно. Собственное тело способно удивить. Не все оно, а его частица, «лоскуток» поверхности. Есть, например, на лоскутке этом родинка в районе второго или третьего ребра и растут из нее тонюсенькие волоски. Их немного. Рассматривая композицию, обнаруживаешь — а ведь похожа картина на паука, того самого, из детства, с тельцем-горошиной и тонюсенькими ножками. Потом в ванну залезешь и на отражение решетчатого отверстия посмотришь. Отверстие как отверстие. Все его знают. Из-за него наводнения в ванной не происходит, если воду забудешь выключить. Сидишь в ванной, отражение отверстия рассматриваешь и волну нагоняешь. Отражение начинает танец. Скучная деталь ванны смахивает на автомобильный знак Фольксвагена. V и W — две перекрещенные буквы роскошной фирмы у тебя под носом, не буквально точные, но все равно… Все равно мир удивителен. Представительный мужчина в пальто и круглой шляпе сидит на переднем сидении маршрутного такси, против яркого прожекторного света, и похож на поясную мишень. Никаких отвлекающих деталей, только темный, почти черный силуэт: голова-эллипс — на ней каска уже, а не шляпа, и геометрически ровные, скругленные плечи. Только он — передний пассажир — такой бестелесный. Остальные нормальные — говорят, локтями пихаются, просят передать деньги.

Едешь то ли на работу, то ли домой. Утро. Платформа. Ждешь электричку и слышишь: «К Любаньской платформе прибывает пригородный до Колпино с отправлением на Петербург». Удивляешься сложности фразы. Для осмысления информации хватает несколько минут. Причем здесь Любаньская платформа, если ты в Колпино? Ну и вообще… Утро. Сейчас приедет путанная электричка. Ну вот, подползла, пыхтя, как престарелый врач-эсесовец во время киношной драчки. Впихиваешься в вагон, садишься. Справа платформа, тоже Колпинская, но ни в коем случае не Любаньская. На ней ждут электрички Чудово — Обухово. Она запаздывает. Наша электричка должна ее дождаться, чтобы пропустить вперед. На перроне курят мужички в искусственных полушубках. Раньше таковые были гордостью отпетых ПТУшников. Лица мужиков озаряет электрический свет, придавая им монументальную значительность. Сидишь в странном напряжении. Вот-вот появится электричка. По расчетам, в твое окно должна попасть голова локомотива. Вот и она, вернее он. В поле моего зрения вплывает огромный рыцарский шлем: темный проржавевший металл, зловеще-понятные детали — забрало, прямоугольные прорези-глазницы, несколько массивных скоб, предохраняющих переносицу хозяина. Голова, головища локомотива в рыцарском шлеме, с циклопьим желтым глазом. От эклектики никуда не деться. И от телевизора тоже. Не ты, так кто-то другой его обязательно включит, и ты увидишь мужчину в строгом темном костюме с огромной лысой головой. Голову дядечка зачем-то наклонит, может быть для того, чтобы рассмотреть пространство, куда следует приземлить могущественную подпись. И ты, ты увидишь, что место на бритой голове, словно нарочно им выставленное, способно разместить еще одну физиономию — так оно велико. Господин исчезает, и на его месте оказывается другой, еще более дородный и представительный. Он кажется турок, или араб, или… Это не важно. Сейчас ты потрясен глазами этого господина. Они невероятно громадны и выразительны. Это живые существа. Они влажны. Они немыслимо выпучены и перемещаются, подчиняясь своим неписанным законам. Они видят все, их стерегут, заметно шевелясь, густые шерстистые брови. Два морских глубоководных существа видят тебя насквозь, ты только догадываешься, что сейчас под воздействием своих двух координаторов, советчиков, властелинов господин сделает что-то важное, например, заключит крупный контракт.

Ты едешь в метро то ли домой, то ли на работу. В открывшуюся дверь вагона ты успеваешь увидеть мужчину в черных тесных ботинках. Форма ботинок совершенна, как седло спортивного велосипеда, туловище добермана-пинчера, автомобиль Фольксваген, лысина чиновника…То ли дома, то ли на работе закончился хлеб. Пора в булочную.

**Внимание, черепаха!**

Черепаха в их доме появилась не спроста, ее купил в зоомагазине папа после того, как они вместе с братом по-разному отреагировали на бегущего им наперерез подвального кота или кошку. Он, например, метнулся в сторону и от неожиданности даже вскрикнул. Брат, напротив, явлением четвероногого ничуть не смутился и, хохоча, пнул котяру под виляющий от суетливого движения зад. Сцену с котом от начала и до конца наблюдал с лестницы отец и… делал выводы. Отец решил, что пинать животное нехорошо, а пугаться странно. На следующий же день он отправился в зоомагазин и принес оттуда обыкновенную среднеазиатскую черепаху.

Черепаха, как известно, не собака, не кошка, большого фурора она не произвела, хотя педагогические цели с ее помощью достигнуты все-таки были. Брат перестал пинать лестничных котов и кошек, что касается его… Трудно сказать, что чувствовал и как себя вел он при последующих встречах с четвероногими.

В доме черепаха освоилась быстро. Зиму она предпочитала проводить на кухне: за холодильником или в протяженной щели между буфетом и стеной. Весной же, взбудораженная природной стихией, черепаха покидала укрытие и начинала свою неспешную, глупую жизнь. Летом черепаха вместе со всеми отправлялась в деревню и однажды, вернее несколько раз даже, чуть было не пропала в буйной сельской растительности, но произошло маленькое чудо — рассказ натуралиста. Когда семейство отчаялось найти черепаху, а брат (он был младше его на пять лет) зашмыгал облупившимся носом, готовый разреветься, к дому подбежала соседская дворняга с пропажей в пасти. После этого случая панцирь черепахи украсили отметины собачьих зубов и еще какие-то странного свойства царапины. На следующее лето в первый же день черепаха махнула вдаль с нечерепашьей скоростью и через несколько минут снова потерялась. Отыскал ее сосед и принес в собственной кепке.

С годами к черепахе привыкли и даже перестали замечать. Правда, бабушка нет-нет, остановившись посреди комнаты, долго смотрела на белый жиденький след, потом на черепаху и произносила очень серьезно: «А ведь она вам счастье приносит». Вскоре бабушка уехала в родной Архангельск и уже оттуда с прежней интонацией (она умела передать ее даже в письме) обращалась к семейству: «…Черепахе, черепахе-то привет. Она счастье вам приносит…». Через несколько лет бабушка умерла, а семья продолжала жить тихо и, как казалось ей же самой, вполне нормально, и кто знает, может быть и счастливо. Летом, как обычно, родители уезжали в деревню. Сначала туда отправлялся отец, позже мать, а повзрослевшие братья, варьируя отпуска, навещали их по очереди. В городской квартире в результате всегда кто-то оставался. Иногда братья жили в ней вместе, и черепаха — теперь уже за город не выбирающаяся — большую часть теплого времени проводила на балконе. С утра ее кормили огурцом или листком капусты и оставляли без внимания до следующего дня. Обычно о необходимости накормить животное вспоминал его брат. Он вообще внимательнее относился к черепахе с того самого дня, когда она появилась в их доме. Странно, но это было именно так. Хотя он как раз пнул тогда бегущего наперерез кота. Отец оказался прав — покупка предназначалась прежде всего брату и только потом, так, заодно, ему. А ему было уже лет четырнадцать, он уже готовился куда-то поступать и ходил вечерами в художественную школу…

И тогда, и сейчас брат был к черепахе внимательнее. «Ты кормил черепаху?» — спрашивал он, переступив порог квартиры. «Кормил, кажется», — уклончиво отвечал он и уходил в свою комнату. Иногда он нарочно подтрунивал над чувствами брата и наступал ногой на черепаший панцирь. Случалось, что он даже несильно подталкивал черепаху ногой и слегка прижимал дверью. «Это же камень, обыкновенный булыжник, — говорил он гостям, — в рыбе больше жизни». «А ты знаешь, кто это?» — пробовали участвовать в разговоре гости. «Это он. Я убежден, что это мужчина, и старше меня к тому же», — парировал он и, наклонившись к черепахе, стукал пальцами по панцирю. Словно почувствовав, что говорят о ней, черепаха смущенно уползала на кухню. Помимо нее черепаха много времени проводила именно в его комнате. Да, так и было. Он сидел на диване и читал книгу, далеко вытянув ноги, как вдруг кто-то настойчиво толкал его ступню или щекотал пятку. «Ты уже здесь», — скорее автоматически произносил он и подбирал под себя ноги. Черепаха начинала водить по сторонам змеиной головкой, а спустя минуту-другую направлялась в облюбованный ею угол, а достигнув стены, начинала карабкаться на нее, царапая обои. Поупражнявшись таким образом, черепаха затихала и появлялась снова рядом с его шлепанцем вместе с полупрозрачной тропкой влаги. «Нехорошо. А еще мужчина», — обращался он к черепахе и продолжал: «Ну разве ж так можно, дядька? Не мог потерпеть?». После этих слов он брал черепаху за панцирь и относил на лоджию. Однако теплыми летние ночи были не всегда. Иногда он приходил на лоджию с кружком свежего огурца и не находил черепахи. Он отыскивал ее спустя время замаскированной старой полиэтиленовой скатертью или грибной корзиной. «Холодно, дядя? Ну на, поешь», — произносил с издевочкой он и клал на бетон лоджии огурец. После этого он еще некоторое время смотрел на черепаху, ожидая, пока та начнет есть и покажет ему свою остренькую, ровно рассеченную пасть. Но черепаха не спешила. Она прятала голову и степенно шевелила задними лапами. «Ладно. Было бы предложено… Скоро и к тебе солнце пожалует».

Однажды, когда поздно вечером он вернулся домой, встретивший его на пороге брат сказал: «Ты ошибался все это время». «Ты о чем?» — спросил он и сел расшнуровывать ботинки. «Черепаха — и есть черепаха», — ответил брат и потер на лбу прыщик. «Черепаха — она и в Африке черепаха — ты это хотел сказать», — обратился он к брату снова и направился в ванную. В ванной он включил кран и первые же капли, которые расплескались по раковине, застыли на поверхности, маленькими, будто ртутными шариками. «Черепаха — она. Черепаха — дама. Изволь теперь любить и жаловать», — донесся до него голос брата. После этого он достал с антресолей фонарик и пошел искать черепаху на лоджию, где начал двигать тяжелые банки с вареньем, греметь пустыми бутылками и рыться в разноцветном тряпье. Отыскав черепаху под давно отжившей свой век кухонной тумбочкой, он взял ее осторожно в руки и вышел с лоджии. В комнате он включил свет и со всех сторон рассматрел черепаху. «А, пожалуй, так оно и есть. Да, да… пожалуй», — задумчиво произнес и позвал брата: «Кто тебе это сказал?». «Знакомый сказал. Он разбирается». «Н-да, вот уж точно — новые знания», — уже скорее себе, чем брату, сказал он и отправился с черепахой на кухню. Там он аккуратно опустил ее на пол, закурил и снова очень внимательно осмотрел. Он смотрел на черепаху, редко взмаргивая, и отмечал в ее облике новые и новые черточки. Они не были характеристиками пола, просто, как ему показалось, передние лапы черепахи чем-то напоминали сосновые шишки не только чешуйчатостью, но и округлой, лишенной внутренней силы формой. Задние ноги черепахи выглядели иначе. На них деформировалась, сжимаясь в многочисленные складки, кожа. Задние ноги сгибались. Прежде всего они несли черепаху вперед, толкая на квартирные стены. Кожа на черепашьей шее была мятой и замшевой… Затем он подсчитал пятнышки на панцире и принялся листать энциклопедию. Он не нашел в ней о черепахах ничего занимательного, вернее, того, что в данный момент его интересовало, и отложил книгу в сторону. Потом он взял черепаху в руки и пошел в ванную. В ванной он вымыл ее и промокнул фланелевой тряпочкой, которой обычно протирали рояль и квартирную мебель. После он достал с антресолей картонную коробку из-под обуви, но тотчас отложил на место, решив, что черепаха сама решит, где и как ей лучше спать и спать ли вообще. Потом он лег на диван, но прежде, чем уснуть, несколько раз произнес про себя: «Это ж надо. Дама. Это ж меняет дело».

Утром он поспешил в овощную лавку и купил там свежих огурцов. Днем к нему зашел в гости друг с женой, которая прямо с порога спросила: «Как твоя черепаха?». «Нормально», — ответил он и приготовился сообщить новость, но жена приятеля продолжила: «Мы хотели принести ему сегодня подружку, но потом решили посоветоваться». «И правильно решили. Черепах — черепаха, оказывается. Поэтому нужен друг». «Где она, кстати?» — спросил товарищ. «Где-то здесь. Она сама теперь решает, где и сколько ей быть. Она вполне самостоятельная женщина», — ответил он товарищу и засмеялся.